

Маска

Автор:

Емельян Марков

Маска

Емельян Александрович Марков

«Маска» – это роман, герой которого сталкивается со своей невестой. Именно сталкивается, потому что его невеста ДРУГАЯ. Она другая во всех смыслах. Она – незаконная дочь советской активистки и африканского шамана – бежит от обстоятельств, но не в страхе, а в гневе – бежит из мира сутенеров, проституток, уголовников. Ее жених – актер, которому дают в театре женскую роль. Невеста презирает его, пытается убежать, но не может.

Емельян Марков

Маска

© Емельян Марков

* * *

Емельян Марков – прозаик, поэт, драматург, музыкант. Вырос в среде неформальной советской богемы. Под столами, за которыми сживали Венедикт Ерофеев, Леонид Губанов, Константин Васильев, прятался мальчик, подслушивая удивительные разговоры, смакуя карнавальные шутки. Кого-то отправляли в тюрьму, кто-то перемещался в сумасшедший дом, но праздник продолжался вопреки всему.

Этот упорный праздник Емельян Марков стал выражать в своей прозе. Однако она ретроспективна только отчасти, в большей степени – устремлена в будущее. Все приобретенные в детстве и бесшабашной юности ценности Марков как бы вручает грядущему. И яркий свет впереди определяет и атмосферу его произведений, и четкие контуры его образов.

««Маска» – это не просто роман о человеке, судьба которого не сложилась. Мне представляется, что это роман, в котором создан образ героя эпохи, героя нашего времени».

Лев Портной

Я себе третья цыганка.

Одна нагадала небо,

вторая – счастье,

а я себе – памятник.

Леонид Губанов

Часть первая. Невесты

1

Гастролеры африканцы почти без ничего на сцену выскочили, давай изгаляться, отплясывать в своей манере. Таисья не готова была проглотить. Она пришла в клуб передохнуть, а тут – безобразие. А эти в публике рукоплещут, тоже – возомнили себя на концерте, баре нашлись! Был бы хоть концерт... Кто допустил!

Таисья чуть не заскочила на сцену от возмущения. Нет, не безумная ведь, проследовала за кулисы. Тут двери по коридору там, сям, никого. Куда так скоро попрятались? Распахнула какую попало. Перед ней стоит: шаман не шаман, чудо-юдо в большущей размалеванной маске. Точно поднос жостовский!

В молодом возрасте прособиралась отправиться обучаться жостовскому письму. Нравились яркие цветы на черном поле, на цветном поле подавно нравились. Ликовала душа, размыкались сердце и улыбка. Тоже хотелось плясать кисточкой по подносу, как кровь струит и пляшет по жилам.

Но как оставить отца – себе на уме?

Мать он тогда уж спровадил на тот свет. Тем и спровадил, что себе на уме. Когда буянил, она – ничего, терпела, счастливая с голодухи была, время-то какое. А как посытнее зажили, он затаился. Из сапожников в сторожа пошел, стадион охранять. Там замкнулся. Сторожа – таинственный народ. Мать и так и эдак: что за тайна у тебя появилась? А он знай себе таится. Чего таиться-то? Весь здесь. Клад, что ли, нашел? Ведь нет, копейки с кроликов считает. Так мама в растерянности и померла. Вот оставь его такого с его тайной. Раньше мамочка за ним приглядывала, теперь самой – глаз да глаз. Утром и вечером попевала по хозяйству. Кур держали, кроликов, солила в сарай, в подпол. Днем преподавала химию в единственном местном институте. Отучилась заочно в Москве в Пищевом. Ездила на сессии в разных, перелицованных отцом под пару ботинках.

Таисья стала грозить маске пальцем, чуть не тычет в нее: дескать, ишь ты, бесстыжая твоя рожа!

Маска притянула с тягой колодезной мглы, как дворовый свист и угловая поземка. Притиснула к себе осклизло рыбиной к борту лодки и выдернула с каленым звоном из синевы, в которой Тася успела захлебнуться. Плеснула в лицо багровая полоса суровой осенней зорьки. Заволоклись беспокойные глаза рыбьей слюдой. Тася решила, что ее таким способом убили. Но бывает, жизнь и смерть блазнят, подменяются взаимно.

С перевернутой юбкой заплутала в помпезном клубе, отстроенном в пятидесятые. Выбрела на потухшую сцену, заплакала ввысь, вымывая из глаз рыбью жирную слюду, перед пустым залом.

В милицию Таисья не пошла. Потому что – неясно, но осознавала новизну, и не освоила пока, где в новом мире милиция, где что. Гастролеры уезжали. Таисья из-за фонарного столба пыталась высмотреть, – как чувствовала, своего последнего. Но знакома она была с маской, реквизит же выносился в чехлах отдельно, улыбочивые черные артисты выходили к автобусу налегке. Таисья напрягала глаза, тянула из-за столба шею, но не признала обидчика.

Спустя месяц изогнулся вопрос: что делать? Она, активистка, пример морали в Заболоцке, поймана в позорный бабий силоч. Оборотень точно приснился, но положение, прозванное интересным, не засыпалось ночью, как ни хотелось с вечера. Ребенок ведь окажется на особинку. Разгадка африканских гастролей раскроется перед людьми. Люди заинтересованно собьют тяжелые лохматые головы пионов, в которых Тася задохнулась и которые так и не выложила красками на озерную чернь жостовского подноса, оставила в дощатой семейной тайне. Не спрячешь черного ребенка в небывалых чудовищных пионах, сразу обнаружит его сторонний глаз.

Таисья пугалась внутренне, но люди ее сами робели. Злословили за спиной. В лицо не смели, потому что беременность только прибавила Тасе прыти и бесстрашия. Ожесточенно она шла с животом по улице, и люди замирали растерянно.

Губы только полные, цвета узловой сирени, и сама – не смуглая в лоск, а бледная в сиренево-белый снег. Скажи кто Тасе, что у нее странный ребенок, она стерла бы в порошок. Назвала дочь все-таки странно, в честь любимой актрисы, – Нонной.

Охаживала дочку до пятнадцати лет. Когда Нонна первый раз не пришла ночевать, просто засиделась в новогодней компании, мать повалила с замиранием ее на кровать: проверить, не посягнул ли кто? Нонна лежала поперек кровати со своими синими, набухшими как от мороза губами, непокорно смотрела в потолок. Ее экваториальную природную физиологию мать

подозревала в заведомом пороке.

Продолжаться так не могло, Нонна убежала пешком в Москву. Близкую, сразу за болотами, по-над которыми по насыпи узкое двухполосное шоссе, но – словно бы на другую, притягивающую цветными искрами планету.

Церковное сестричество, куда попала сперва в Москве, не удержало. Как раньше в Заболоцке не удержал балетный кружок. Не изловчилась тогда пристроиться к белой стайке низкорослых девочек, и так и эдак, всё не то, черный долговязый лебедь. Скиталась теперь по Москве, попала так на выставку картин. Яркие наряды посетителей, серые картины на стенах. Подхватил сам художник.

Почему – интересуется – цветы серые? Любишь яркие цветы? Определил в студию флористики. Цветы, какие она любила, хранились в серых толстых альбомах художника в прозрачных ячейках на маренговом их муаре на марках неведомых стран: Верхняя Вольта, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар. Нонна с раскрытым на голых коленях альбомом или, по фантазии художника, стоя на четвереньках с раскрытым альбомом на выгнутой спине, позировала. Если не позировала, то, подражая матери, кричала на художника. Когда серия картин «Марочное вино» была закончена, художник избавился от Нонны. Свел ее со знакомым своим детским композитором. Под хоровые детские песни нового благодетеля Нонна затосковала. Композитор ждал от нее восхищения и – не получал. Композитор передал Нонну председателю клуба нудистов. Нонна сразу допустила небрежность: забыла раздеться. Пошла размашисто танцевать одетая среди нагих. Председатель побледнел всем своим обнаженным телом, подступил к Нонне и предложил ей покинуть мероприятие. «Это почему?» – не сообразила Нонна. «Ты что же, сама не понимаешь, в каком ты виде? Посмотри на себя», – указал взглядом председатель. Нонна, тоже взглядом, оценила вид самого председателя. Когда на другой день Нонна пришла опять, председатель встретил ее новостью о собственной ей протекции для своей подруги, режиссера порнофильмов. Нонна пришла в студию. Заранее признательная режиссерша предложила Нонне в темпе подружиться с намеченным для нее партнером, в темпе рассказать ему о наиболее невероятных своих мечтах. Нонна выслушала, кивнула, повернулась и пошла прочь, потому почему-то побежала, побежала в каком-то ожесточенном ликовании. Уже на улице с разбега зацепилась за долговязого забулдыгу, предложившего ей глотнуть из большого одноразового стакана ледово-мутного пива.

– Ну как, снялась? – спросил, похоже, неплохо осведомленный забулдыга.

– Нет, – ответила Нонна.

– Не подошла?

– Они не подошли.

– Даже не подошли? – сыграл долговязый.

– Они бы подошли, да я хорошо бегаю.

2

Испугался странной иссиня-белой кожи, пусть сам сплошь иссиня-расписной от тюремных наколок. Подстраивал под себя женщин: как фонарь, впускал их в тусклый свет пивного стакана. И по кликухе звался Фонарь. Женщина поднимала лицо. Он разглядывал недотепу сверху, не пригибаясь, она сама тянулась к нему, как к елочной игрушке. А он, как новогодняя елка, привечал всяких. Теперь самолично надлежало согнуться, потом скорчиться в сиреновом нежном снегу. На зоне Леха-Фонарь валил ели на лесосеке, бригадирил, сам же о еловой участи никогда не горевал. Но отпускать Марсианку, как он ее обозвал, тоже не торопился. Ее присутствие в квартире похмеляло лучше всякого прицепа, давало потусторонний смысл каждодневному сабантую, а потусторонняя гарантия верняковая. Как призрак, выходила мулатка Нонна к согбенной пьяни коричневой. Садилась, закидывала длинную, – если бы не ленилась поднять выше, достала бы до форточки тесной кухни, – ногу на спинку стула. Леха тогда не просто высился над пьянью, как фонарь, а ощущал себя реальным королем.

Впрочем, долго нагнетаться не могло. Силы Лехи достигли предела. Когда завьюжило дворы, пьянь коричневая начала не понимать его потусторонней опеки над Марсианкой. Пьянь – внутренне, глубоко в своем коричневом, но – стала изгаляться. Отчего стала сама расти, наполнять коричневым помещение. Леха начинал в коричневом захлебываться. А бледная мулатка отчужденно бытовала в этом безвоздушии, лежала на его дне, как сверкающая утопленница, как свадебный манекен абсолютных пропорций. Африканские черты и фигура делали саму бледность ее белесой, ночной. Леха еле передвигал ноги в коричневом иле квартирной зимней ночи.

Выдравшись из него, он вышел в завьюженный двор. Почувствовал тут чрезмерную легкость. Чудилось, можно запрыгнуть на близкую крышу пятиэтажки.

Заслышалось волглое в морозном воздухе пение. Фраер с гитарой пел в окошечко дворового ларька:

Молодость моя, Белоруссия!..

«Какая, нахрен, Белоруссия?» – заинтересовался Леха и направился к ларьку.

За окошком ларька сидела его подруга Надюха. Фраер конкретно подбивался к ней. Но как Леха приблизился, то сразу разглядел, что фраер клин не выставляет. Просто изливает в окошечко жидкую душу.

Леха тоже пристроился. Опершись возле окошечка, начал слушать обрадованно. Когда фраер закончил про Белоруссию, Леха спросил:

– Что ты помимо можешь?

– Про осень.

– Глаза разуй. Уже зима, – оспорил Леха.

– Но недавно была осень. Сверху – да, намела зима. Но внизу ведь осталась осень. Вникаешь? – забирал на себя фраер.

– Гони про осень, – дозволил Леха.

Осенью в дождливый серый день

Пробежал по городу олень.

Он бежал по гулкой мостовой

Рыжим лесом пущенной стрелой.

Леха почувствовал добычу, или особого разряда тягу в свою сторону добычи, как охотник. Будто бы фраер не только поет про оленя, а сам и есть олень. Леха словно не песню распознал, а слышал в сквозняке кустов оленью трубу, красную изнутри. Почувствовал через собственную аорту привкус оленины. Оконную синь оленьих глаз. Он сам враз, как тунгус, понял себя оленем. Предвосхитил ликованием свое избавление от животного страха и – свою звериную утрату. Сам себя обратно и ощутил добычей. Свою же татуированную кожу – на собственном бубне.

– Пошли ко мне, Олень. Споешь у меня. Есть – кому. Здесь ты уже попел – хорош. Надюха, благодарная чикса, оценила. У меня чикса живет неблагодарная. Ей пой всю ночь под завязку, она по-любому не оценит.

– Так зачем петь?

– Ты за благодарность поешь? Я решил, что ты на поболее претендуешь.

– Естественно, на поболее, – подтвердил Олень.

– Тогда двинули. Будет тебе там на поболее.

Вошли в зеленый, как невымытый аквариум, подъезд пятиэтажки. Поднялись на второй этаж.

– Она – Марсианка, – предупредил Леха, впуская Оленя.

– Марс тут сразу на втором этаже?

– А ты думал? Я пью и ночую на Марсе. Хотя, по чести, это она ко мне зарулила. Порнуху снимают на Марсе.

– Я так и думал. Потому порнуха вызывает астрономическое любопытство. Она – порноактриса?

– Не. Она свалила с Марса.

– Свалилась?

– Спрыгнула. Без котла, налегке, как синий иней легла на провода.

– Так и лежит?

– Увидишь.

...Филипп Клёнов, церковный певчий, шел с гитарой из гостей. Заглянул он к своему другу и наставнику регенту Станиславу Викторовичу, всегда встречавшему Клёнова с радушием и обидой.

Квартирка регента относилась к храму, где друзья пели, – как нелегальный склад. Хранила вытертые поцелуями иконы, облупившиеся, словно в сахарной глазури, части бывшего иконостаса, потускневшие кадильницы, пухлые ветхие служебники.

Квартирка оказывалась не просто жилая, а живая. В ней хоть какую бумажку на воздух положишь, квартирка сама найдет ей в себе место, а негодна ей бумажка, запропастит ее. Регент хвалился, что греховные книги он сжигает. Больше верилось, что сама квартира выбрасывает греховное в покатую сосущую щель, а праведное вызолачивает густым воздухом, в котором пряный дух поспевшей овсяной каши мешается со смоляным запахом ладана. Квартира умела и пошалить. Скажем, могла подложить в спелую овсяную кашу камушек персидской бирюзы.

Квартира Лехи словно была той потусторонней емкостью щели в квартире регента, куда негодное проваливалось. Только Леха держал тут своей порядок. Квартира его выглядела словно выскобленной, как нутро бочки. Отверженные светом вещи расставлялись, как тертые шашки по обшарпанной доске для простой, но отвлеченной игры.

Леха отправил Филиппа на кухню и вывел к нему Марсианку.

– Марсианка, познакомься, это Олень. И обратно, Олень, это Марсианка, – отчего-то неохотно представил Леха.

Лицо подвижное, вместе будто ломкое и плавкое, как остывающий воск, как лед или как жженный сахар. На чертах гостя можно гадать, как на кофейной гуще: то чертик получится, то ангелок, то старик, то девушка. Лицо недочитанное, как обрывок страницы из приключенческой книги. Угаданные лица по нраву детям. Лицо гостя давно знакомо из детских созерцаний. Настойчивая странность отсылает к детству, а детство любят мусолить разве средней руки писатели. Лицо гостя вызывало досаду ненужного возвращения к забытым странностям. В его неаккуратной кудлатой прическе тоже легко угадывалось лицо.

– Почему он олень? – спросила Нонна Леху.

– Потому что рога еще не отшибли.

– А почему ты марсианка? – спросил Филипп.

– Меня марсианкой называет исключительно Леха. Ему так проще меня терпеть, – незлобиво ответила Нонна.

– А зачем он тебя терпит?

– Спроси у него.

– Леха, ты зачем ее терпишь?

– Сам не в курсе... Чтоб ты спросил. Спит она в другой комнате. А я никогда до другой комнаты не доползаю. Каждую ночь ползу, ползу. Пока не дополз.

– Сколько тут комнат?

– Две и есть. Забирай ее!

– Комнату?

– Щас, комнату! Марсианку эту забирай к едрене-бене из комнаты.

– Вариант, – предостерег Филя.

– Ну и забирай нах!

– Я же и заберу.

– Спой, Олень! Спой про оленя! – умиленно, потирая наколки на предплечье, попросил Леха. Ему делалось спокойно и радостно оттого, что Марсианка от него того глядишь свалит. Он устал от полнолуния, от полномарсия и полновенерия. – Спой, падла!

Филипп запел. Но не про оленя:

Я узником стал В твоей пустоте, Потому что тебя люблю.

Теперь что-то пью В твоей пустоте, Потому что тебя люблю.

Огни деревень В твоей пустоте, Потому я тебя люблю.

А вечером я Сижу в пустоте, Потому что тебя люблю.

Плевать я готов В твою пустоту, Потому что тебя люблю.

Пускай я лечу В твою пустоту, Все равно я тебя люблю.

Я верю в тебя, В твою пустоту, Потому что тебя люблю.

Нонна стала в такт биться выпуклым лбом об угол черной плиты и рыдать. Рыдала она – если довериться прогнозу Лихи, – от неспособности испытать благодарность.

отсутствие благодарности самый восторг и есть; когда не можешь отдать последнюю рубашку, приходится отдавать себя вместе с последней рубашкой.

– Уведи, ее уведи, – рассвирепел Леха. – А то я ее, непонятную мне, попишу к её же матери!

Филя поймал одной рукой запястье Нонны, другой гриф гитары и повлек Нонну к выходу.

Леха цеплялся дрожащими от напряжения длинными пальцами за стул и кричал вдогонку:

– Сейчас сорвусь и обоих замочу! Бегите, бегите, честно рекомендую!

Бежали через двор, будто наперегонки. Кленов сносно бегал, медаль не выбрасывал глиняную за школьные соревнования. Но Марсианка бежала легко, с расслабленными в варежках кистями и с непомерной для Кленова быстротой. Африканская кровь и мама – чемпионка города Заболоцка по бегу. Но еще – Кленову до дома через два двора, Нонне бежать – некуда. Когда бежать некуда, тогда – бежится.

Под ночным степенным снегопадом, среди вскользь смазанных блесток Филя повстречал опять Леху. С топором в руке. Леха замахнулся, вымеряя взглядом, как парусный реверс. Филя сказал:

– Остынь. Я ее не догнал.

Леха опустил печально топор.

– Как ты посмел ее не догнать? Теперь, брателло, мы ее потеряли на хрен.

– Она слишком быстро бежит.

– Я понимаю, – развел руку в одну, топор в другую сторону Леха. – Но ты обязан был ее догнать. Через не могу, усекаешь?

– Усекаю. Я ее догоню.

– Да как же ты ее, салага, догонишь теперь?

– Не имею пока представления, но уверен, что догоню.

- Да ты фантазер, я наблюдаю.
- Возможно, вполне возможно. Но однако тем не менее.
- Идем нажремся в ноль?
- Не время жрать.
- Выбор твой. Пить или же всегда время, или же никогда. Ты установи для себя, если не желаешь остаться оленем.
- Я подумаю.
- Подумай, - одобрил Леха. И пошел восвояси, помахивая топором.
- А как ее по-настоящему зовут? - окликнул Филя.
- Нонна - типа! - обернулся, сделал вычурное движение топором Леха.

3

В юности в музыкальном училище Кленов не доучился. Поступил в театральное. Учась в музыкальном, он все явственней замечал, что пьет с сокурсниками, своими друзьями барабанщиком Геннадием Патовым и дирижером-хоровиком Григорием Настовым - как-то не совсем всерьез, играючи. Патов и Настов, имея более бдительное чувство юмора, чем Филя, все же к студенческим сабантуям относились практически свято. А Филя с запоя соскакивал безответственно и цинично. На грузинской свадьбе не принято запросто вставать из-за стола. У нас не принято за здорово живешь покидать запой. Если ты уж встрял в него. А то - Филя снимал самые пенки с праздника, как кремовую розу с торта, сухой же бисквит дальнейшего запоя оставался Патову и Настову. Они оскорблялись. В такой Филиной легкости содержалось предательство, дезертирство даже. Филя, по разумению друзей, словно бросал их в бою. А после на голубом глазу сам же вслух на крыльце училища заново смел мечтать о пиве и прочих алкогольных утех. И друзья опять ему - верили. Верили, что впредь он их не бросит. Поглядывали с презрительной опаской, шурились со злобным подозрением, но все-таки верили. Под их подозрительными и одновременно доверчивыми

взглядами Филя пришел к мысли, что он – актер.

Актеру по плечу водить за нос зрителя целую эпоху. Причем, из году в год на том же самом спектакле, ставшем благодаря безответственности актера священным.

В решении бросить музыкальное училище поддержала тогдашняя невеста Клёнова Дарья. Она сама сразу после школы побежала на театральный. Филя – за ней. Но тут уже Дарья показала актерский талант и выскочила из отношений с Клёновым, как сам он раньше выскакивал из дружеского запоя. На крыльце училища Клёнов на голубом глазу предлагал ей вернуться к нему. Но она, сама теперь актриса, не вверялась ему так, как раньше вверялись Патов и Настов. Хотя пока не пошла в актрисы, вверялась. Получалось, что не она его, а все-таки он ее сделал актрисой. Так начинал действовать фатум. Когда оставленный невестой Филя театральное училище окончил, начались его актерские мытарства – начались вопреки ожиданиям славы, достатка и утонченных наслаждений.

Манера игры Клёнова обнаруживалась какой-то оперной, выпендренно он играл, что ли... Нет, пошлость в его игре не обозначалась. Но он играл словно бы в баснословном античном театре. К немалому ужасу своему курсе на третьем театральном Филипп понял, что он по призванию – актер древнегреческого театра, ни больше ни меньше. Маска – задана, точнее – выдана. Прикрывает лицо, а не строится им. Игра – в тайне, за маской, под ней. Там – театр. Зритель лишь мечтает о театре, надеется на него. Потому, осознал Филипп, сам он и болтается между театром драматическим и оперным. Пусть в опере нет явной маски, в ней есть нарочитый грим и маска вокальная, мимическая, удобная для извлечения полнокровного звука. То есть неповторимый звук таится и рождается за ничего лично не выражающей профессиональной гримасой. Оперетта и мюзикл Филиппу претили. В детстве он боготворил оперетту, млел от опереточных арий. Мистер Икс утвердился попросту его героем. Наверное, в глубине души Филя был опереточным актером, в детстве-то виднее. Но теперь ему сделалось боготворить оперетту зазорно. Хотя нет, суть нащупывалось тоньше. Филя чувствовал себя опереточным героем вживе. И он не мог сверх того играть опереточного героя! От психиатров на диспансеризациях он тщательно скрывал, что в истинном развороте считает себя Мистером Иксом. Психиатры подозревали неладное. Пристально вглядывались в Филю, как вглядывались в него Патов и Настов, когда он вдохновлял их на пьянку.

Смекали, что что-то такое, небезынтересное для них, Филя утаивает. Но не могли его расколоть на главное. Он вешал им на уши, что у него депрессия, навязчивые идеи, мания преследования, патологические сны... Но они ведь понимали, что он гонит им тюльку косяком, что все его жалобы – полная туфта в сравнении с главным, основным – что? как раз для них захватывающе интересно, но до чего он их, профессионалов по части этого основного, надменно и насмешливо не допускает.

Пел Клёнов тоже ни два ни полтора. Манера его слишком напоминала манеру Георга Отса, сыгравшего Мистера Икса в отправном для Филиппа черно-белом фильме. В музыкальном училище быстро махнули на Филю в вопросе классификации его профессионального профиля. Непонятным оставалось: поет он в самом деле или изображает, что поет. То он гроыхает, а то блеет, то звенит, а то, наоборот, обволакивает. И – постоянно эта напускная проникновенность а-ля Мистер Икс. Если на то пошло, всамделишному Мистеру Иксу следует работать в цирке. Цирк не замедлил начаться в жизни Клёнова.

Театральные крепости ему не покорялись. Подступал он к ним, как грозный рыцарь, вылетал из них, как неугодивший лакей, провожаемый пинком под зад. Вышибали его и из самых что ни на есть уездных крепостей. Режиссеры поначалу принимали его со всем присущим им радушием и совершенным к нему расположением. Но Филя, пренебрегая режиссерскими радушием и расположением, в здоровую и бодрую атмосферу молодящегося театра вносил давно изжитую тут ипохондрию и тревогу. А главное – неуверенность в себе, столь противную современному театральному искусству. Имел бестактность буквально с порога затевать монолог Прометея Прикованного. Причем правдоподобие тирады вынуждало режиссера коситься на окно: что не в шутку залетит Зевсов орел и примется выдирать у соискателя печень. Конечно, таких ужасов режиссер в по-отечески любимом театре не мог допустить. Да этот всех зрителей распугает. Публика в панике разбежится! Мы-то не в Древней Греции, где в театр ходили по суеверной необходимости, а не ради эмансипированного удовольствия, как сейчас. Филю просили вон. Словно он нанес кому-то личное оскорбление. Нашелся наиболее изощренный режиссер, выразивший занятный пассаж: «Пойдите в какой-нибудь другой театр. Вы же талантливый. Жалко...» – сказал он. Будто не от него, данного режиссера, полностью зависит зачисление Клёнова в труппу. Ну – хотя бы вне штата, или как-нибудь на чьи-нибудь взять поруки.

Опять же – опера? Не чувствовал Филя в себе полноценного оперного дара. В опере необходима разбойничья удаля, эдакая живописная кровожадность, тяга к преступлению и преступному миру. Такие свойства придают оперной сцене свежесть снежной вершины. В опере и балете кровь не должна запекаться, она всегда должна оставаться свежей и яркой, как краска. В драматическом театре краску выдают за кровь, в оперном – кровь за краску. Положенный в опере свежий кураж Филипп не покушался примерить на себя. Да и не доучился он для этого.

Филя устроился певчим в храм. Здесь он сдружился с регентом, от которого под хмелем возвращался в судьбоносный вечер знакомства возле ларька с Лёхой. А через него – с Нонной.

* * *

Кленов, когда шел на работу в храм или возвращался из него, пересекал двор, на дне которого возле голубятни с бутылкой или стаканом пива стабильно правил Леха. Он и раньше тут стоял, но теперь Филипп был с ним коротко знаком. Сегодня он подступил к нему.

– Что ты вообще о ней знаешь?

– О ком? – шутливо не понял Леха.

– О Нонне.

– О Нонне... – задумался Леха. – О – Нонне.

– Но ведь что-то она о себе рассказывала?

– Что-то – рассказывала. Но она – птичка перелетная. И где она сейчас, я не в курсах, падлой буду.

– Но ведь у тебя все схвачено, у тебя типа мудрость, ты ведь можешь ее найти.

– Я – могу. Но, понимаешь, если я ее найду, я ее убью.

– Ты сам ее не ищи, ты мне просто скажи, где ее надо искать.

– Тебе, – надменно уточнил Леха.

– Да – мне.

– У таксистов... – словно прозревая, не двигая губами, вымолвил Леха.

– Почему у таксистов?

– Ну шлюх через таксистов тягают.

– Ты думаешь, она стала шлюхой?

– Почему стала?.. – Леха улыбнулся маслянисто. – Может стать. Уйти в профессию. После твоих песен в натуре способна. Нельзя так забойно исполнять в наших местах. Если наскоро забиксовалась, поздняк метаться. Ты поспеши. Лафа, глядишь, тебе и сломится.

Леха лукавил, конечно. Хозяйка местного притона хотела принять от него Нонну за куш. Когда он, как поваленный фонарь, лежал засветло на полу, Нонна грозилась убежать к этой Лидке. И почти бежала. Фонарь пальцем цеплял ее за каблук.

Потому наводка выдана была вполне верная.

– А как это делается? Я не имею опыта, – доверился Филя.

– Все бывает в первый раз. У нас возле метро таксисты пасут. Подчаль к ним и задайся на вопрос девочки.

– Так и сказать?

– Так и скажи: нужна девочка.

– Спасибо.

– Да на здоровье, – иронически развел бутылкой в одну, свободной рукой в другую сторону Леха.

Он постоянно сохранял радость. Радость словно тлела в его груди. Он заливал этот уголек спиртовыми консистенциями, но уголек опять отворялся, как хищное око. Ничто не могло утолить Лехиной радости.

3

Продажная любовь вправду была Клёнову незнакома. Имел место в памяти случай.

В музыкальном училище Клёнов, как говорилось, дружил с хоровым дирижером Григорием Настовым. Настов настойчиво критиковал пение Клёнова, на том дружили. Вместе покинули училище на втором курсе. Гриша бросил не из-за судьбоносной безответственности, как Кленов, а наоборот, из-за крайней ответственности перед собой. Это была приверженность себе, перед которой Клёнов преклонялся. Дружба удержалась на одном гвозде: на доверчивом презрении Настова и на шаловливом преклонении Клёнова.

Их приятель и сокурсник Гена Патов, барабанщик, тот, более взрослый и умудренный, остался доучиваться. Хотя не раз порывался хлестко забрать документы. Но такова была его взвешенная политика, на которой он, не ущемляя свои пьянки, дебоши и оргии, удержался в училище.

Настов отличительно от Клёнова никуда больше не поступал, сразу занялся мелким бизнесом и уже взрослым крупным запоем. Из которого Филя встречал его однажды как космонавта.

Настов приветствовал ослабевшей ладонью, вымученной улыбкой, шнурки у него были развязаны. Филя предложил ему глицин. Гриша с омерзением отказался от «колес», настолько не в пример Филе он был честен и чужд любым подменам. Филя вел Гришу под локоть. Гриша светло смотрел в небо, откуда он только что соскочил мало не покажется, и шептал проникновенно: «Всё чудесатей и чудесатей!..»

Как-то пили вместе пиво. Присели на скамейку рядом с остановкой. Подсела раздобревшая, одновременно малокровная девица. Вторая, более стройная и прыткая, тут же совсем рядом сговаривалась растроганно и увлеченно с явно не очень требовательным прохожим. Грузная девица подсела именно к Грише, а не к Филе. Именно в Грише она почувствовала особо щемящую тоску, за которую тут цепляли клиентов. Друзья не выказали рьяной тяги к покупной любви, что девица приняла вполне философски.

– А почему ты не хочешь? – обратилась она вдруг не к Грише, а к Филе.

– Мое сердце принадлежит другой.

– Ну и что?

– Как что?

– Какое это имеет значение? Я же не претендую на твое сердце. Сейчас разговор о другом.

– Знаю я вас, – ласково отмахнулся Филя. – У вас все наоборот, у дам. Вы вроде о другом, а сами всегда метите в сердце, в самую его серединку.

Девица глянула на Филиппа неподобающе преданно.

– Я готова с тобой пойти бесплатно, – пояснила она.

– Я очень благодарен. Проблема в том, что я не готов.

– Еще не готов?

– Пока нет.

– Как знаешь, – сурово опечалилась девица. – Только это: вы, ребята, не садитесь больше на эту скамейку, если не за услугой пришли. Тут особое место.

Ребята встали, пошли прочь.

– Всегда так, – мрачно произнес Гриша. – Ключут на меня, а идут потом с тобой.

В отваге Гриши Настова ревновать к дешевой путане – его высокое нравственное чувство и его атомарная мелочность. Отвага, высокое чувство и мелочность толкнули его в дальнейшем к опыту сдельной любви. Стало трошки колбасить, объяснялся Настов после Клёнову. Упомянутым выше способом, то есть – через таксистов, он пригласил – а жил, как и Филя, один, – загодя по-джентельменски постирал носки в раковине, надел мокрыми, по зиме в мокрых носках через таксистов позвал к себе – не женщину. Он не решился позвать к себе женщину. У него к женщине от юности установилось ломкое и намаянное, как черная ветка, отношение...

Клёнов сразу после их отчисления из училища показал Настову свою тогдашнюю невесту Дарью, счастье с которой настолько Клёнову казалось абсолютным, что он счел уместным ознакомить с ним и завистливых друзей своих. Дарья по молодежному состраданию и компанейскому укладу не обошлась относительно Гриши без подруги. Синие глаза которой словно светили целебным синим электрическим светом. Синий свет облекал всю безупречную, понурую и удлинённую – как вечерняя тень самой Дарьи – фигурку подруги, будто бы она медсестра, ласково включившая в палате кварцевание. Настов вмиг почувствовал себя хворым и полностью преданным в прохладные, как свежий градусник, пальцы. Поистине же бедственным для Настова стала очевидная ответная приязнь, удручившая и растрогавшая его до полного ожесточения. Настов сам был синеглазый, в свечении своих глаз высился, как голубая канадская ель. Союз угрожал чрезмерным совершенством, предосудительной чистотой породы, как у великолепных и редких животных. Чтобы не как у животных, а сложилось, как у людей, Настов затрепетал, изломался сразу внутренне, почернел. На пороге своей квартиры исказился так, что – явно не из пугливых – девушка тем не менее от порога отпрянула, и превратившийся в спрута Настов не нашарил ее щупальцами в перегоревшем свете захламленного тамбура перед квартирой. «Мы, типа, дублиеры нашего Филька и вашей Дарьи. Чтобы им не так стремно было, мы должны их синхронно дублировать. Давай и представим, что мы – это они, и оттянем по самое не могу, чтобы им мало не показалось. Они пусть играют в любовь, строят радужные планы, мы же будем друг дружку разделявать и жарить на кухонном столе до полного угара!» – скрежетал он, шаря щупальцами... «Не напоминай мне об этом уроде!» – потом требовала подруга в ответ на участливые вопросы Дарьи. Да, Настов временно стал уродом, временно оборотился чудовищем. Практически безотчетно он рискнул испытать красавицу, прежде чем доверить ей сокровище души своей. Сокровище он словно бы в кулаке приготовил, когда глумился и корчился на

пороге. Но простоватая красавица отказалась вникать в тягостную для нее психологию Насова, ушла в равнодушном бешенстве.

... Потому Насов решил не звать через таксистов – женщину. Из опасения перед искусом отдать и ей сокровище своей души за приемлемую плату. Он пригласил одновременно двух женщин.

Почему не целуются? Целовались... Понравилось... Правда, когда они удалились, начало трошки колбасить. И не трошки, а так, что Насов впоследствии предпочитал воздерживаться от повторения таких у себя радушных гостин. Ведь и космическая выправка запоев не помогла справиться с лихой отдачей внутреннего мира после.

Филиппу Насов представлялся с тех пор героем красного фонаря, пусть Насов и вошел в его свет единожды, тем паче он был героем. Дважды герой, трижды герой, четырежды – уже что-то официозное. Официоз нехорош даже в красном отсвете, там он особенно ужасающ. Ван Гог не знал, чем и смягчить пронизанный красным светом официоз. Отнес в бордель свое ухо, завернутое в салфетку. Очень хотел смягчить официоз борделя. Филипп в свидетельство восхищения перед подвигом Насова подарил ему постер с картины Ван Гога «Терраса вечернего кафе». Чтобы, если Насова опять заколбасит трошки, он посмотрел с кровати поверх усов на дверь своей спальни изнутри, и умиротворение бескорыстного искусства ответствовало такому же его взгляду.

* * *

Филипп приблизился к таксистам. Они посмотрели на него проницательно.

– Куда ехать?

– Мне не ехать.

– А что тогда?

– Мне другое.

– Другое?

– Ну да.

– Э, мы дурью не торгуем. Отвали, командир... А что, тебе дурь нужна?

– Мне дурь не нужна. Мне нужно совсем другое. Понимаете?

– А, совсем другое.

– Парень нарывается, – констатировал один таксист.

– Ну что ж... – произнес другой.

– Я не нарываюсь, – опроверг Филипп. – Я слышал: вы в курсе... Мне услуги нужны.

Водилы облегченно выдохнули.

– Ты ясней выражайся. А то можно неправильно понять, – посоветовал первый таксист. – Покарауль вон у табачного ларька. К тебе обратятся.

Филя встал возле табачного ларька.

Подошла. Репетиция свидания. Того самого. Они, которые потом, – для другого. А она – для этого. Они – для ветреных утех, а она для свиданий на ветру. Всегда – ветер. Или – кажется. Она на этом собаку съела и еще хочет: кажет млечные, как у ребенка, зубки. Запрокидывает голову, словно намекает на близкое, смотрит из-под прикрытых век млечными голубыми глазами. Черный плащ облегает плотное тело, голова, стриженная птичьей шапочкой, непокрыта.

Обкатано, ни малейшей накладки, необратимость, зыбучие пески и цепное падение плиточек домино. На черных белые крапинки, на белых черные. Закономерно: белые руки, черный плащ. Глаза мутнеют и одновременно пустеют на лице, как небо за облаками – гипнотически. Челку вскидывает рывком головы

со лба призывно. Улыбка примадонны оперетты, рассчитанная на кипучие овации. Вместо оваций – запутанный, как пряжа, шум улицы.

Пряжа улицы стреножит толпу, путается в ногах, у всей разом. Затоптали пряжу, шерстяные нити изгвазданы в снегу сиплом, словно его выдули, как слюну, из трубы в оркестровой яме. Рельсы в оркестровой яме, а музыканты мелькают в вагонах. Зрители с платформы пытаются различить: какой же у кого инструмент, что получается глушащий вихрь? Ушными раковинами вихрь вычерпывается из механизированных недр; так в морских раковинах слышно море, в ушных слышится нарастающий гул поезда. Как моллюск нежит свою раковину, так язык нежит – ее – раковину. Неотвратимо. Город. И – она.

Она – это буква «а». Остальное «он». «А» провисает, как волосы, нижушие темноту. У этой – короткие волосы, но призывным взмывающим кивком она намекает на длинные, близкие, на букву «а» намекает, щурясь. Пальцы белые, как у музыканта в оркестровой яме. Из-под черного плаща – виолончельный отзвук, жажда смычка, напряжение стальных струн, живых колков и шпонок. Щиколотка приложима к плечу, как гриф. Но – не ее стойкая меловая балясина. А буквы «а».

– Вы ко мне? – взволнованно, радостно спросила Лидка.

– Наверное.

– И не сомневайтесь, вы точно ко мне. Идем! Припустила скорым решительным шагом прочь от метро в сторону дворов.

– Какая вам нужна девочка?

– Конкретная.

– О, у меня все конкретные!

– Я не в таком смысле.

– А в каком?

– Я бы хотел по имени Нонна.

Озадачилась.

– По имени предпочитаешь?

– Да, предпочитаю.

– Но у меня не справочное бюро.

– Я понимаю.

– А с чего ты взял, что у меня есть девушка с таким странным именем? Ты оригинал?

– А что, нет с таким именем?

– У меня много чего есть, всевозможный выбор.

– Тем лучше. Так я могу рассчитывать?

– Ты по рекомендации?

– Да, я по очень авторитетной рекомендации. Мне вас отрекомендовали как лучшего специалиста.

– Что ж, приятно!.. – Лидка усмехнулась опасливо. – Не знаю, кто ее отрекомендовал...

– Может быть, и знаете.

– Может быть, и знаю... – Лидка испытующе сощурилась. – Впрочем, я рада. Нонночка – сложная девушка. Она так с первых слов унижает клиента, что уважающий себя готов ее скорее сразу пописать, чем брать для услуг. Так что она пока не работала.

– Тем лучше.

– Я тебя понимаю! – закивала Лидка. – Я бы с ней не церемонилась. Но она – от одного моего старого друга. Может быть, общего, а? – Лидка синим, свежим, как незабудка, глазом подмигнула.

– Может быть.

– Не знаю, понравится ли тебе ее обращение...

– Понравится. У вас очень красивые глаза.

– Спасибо! Если Нонночка тебя обидит, мы тебя утешим.

Вошли во двор. Лидка потянулась к окну первого этажа, постучала в стекло. Почти мгновенно из подъезда выбрали три фигуры.

– Спокуха, кисты, он по записи, – объявила им Лидка.

– Абонемент, – нервно подмигнул в темноте Филипп.

– А где же наша строптивая? – спросила Лидка. – По ее душу пришли.

Девушки тупо молчали.

– Почему не отвечаем? – осведомилась Лидка.

– Она целый день на кухне сидит, – пробормотала одна из девушек.

Лидка подошла к другому окну, постучала. Филипп увидел в окне Нонну. Лидка сделала ей жест немедленно выходить. Нонна метнула резкий взгляд на Филю и погрузилась глубоко в заоконье.

– Сколько? – спросил Филипп.

– Ночь? – вздохнула легко Лидка.

– Да.

– К себе возьмешь?

– Да.

– Пять.

– Неужели?

– Да. Она, когда у меня поумнеет, за валюту пойдет. Лови момент. Хотя ты с ней сначала договорись. А то, может быть, сам сейчас откажешься. Я могу тебе предложить другую. Нонке поначалу побойчее ковбой нужен.

– А Мистер Икс не подойдет?

– Ты Мистер Икс?

– Да.

– Где же твоя маска?

– Я наоборот теперь. Раньше я прятал лицо, теперь я прячу маску.

– Ну ты даешь!

Усмехнулись и девушки, им понравился Мистер Икс.

Вышла Нонна.

– Вот, Нонна, за тобой Мистер Икс прибыл.

– Он не Мистер Икс.

– Вы знакомы?.. – вздрогнула Лидка.

– Он Олень.

– Опять клиента задеваешь?

– Ничего. Я не обиделся. Олень так олень. Я согласен.

Лидка прильнула к Филиппу. Он сунул ей всю наличность, порадовался, что – только-только, но хватило. Если бы не хватило, догадливая Лидка могла потом не показать ему Нонну. Она и сейчас заметно беспокоилась и уже колебалась.

Нонна пошла вперед.

– Ты так уверенно идешь, как будто знаешь, где я живу, – отметил Филипп, поспевая из двора во двор за ней.

– Я предполагала, мне мужик подвернется, зверь, от которого не отвертишься. А попался ты.

– Что, если я и есть зверь? Звери бывают разные.

– Да, встречаются зайцы. Ты заяц. Я считала, ты олень, а ты заяц.

– Забавно ты работаешь. Ты что, как это называется, «госпожа»? Унижаешь клиентов? Но у меня другие вкусы. Я достаточно унижен обстоятельствами, мне нужна эта, как там у вас называют, «рабыня». Я актер, профессиональный артист, но одновременно нетеатральный человек. В чем заключается драма моей жизни.

– Слушай, давай правда без речитативов. Уляжемся и разбежимся в разные стороны.

Вошли в квартиру. Тут – несметно книг по стенам. Плачевно почерневший, остро пахнувший черной землей паркет. Между книгами и паркетинами и под сдержанными пейзажами в разновеликих рамах держится тонкий холодный воздух. В прихожей вешалку загромождала одежда всех сезонов.

Выпили вина. Нонна вдруг попросила:

– Давай не произойдет этого.

– Этого и не произойдет.

– А что произойдет?

– Произойдет другое.

– Что другое?

– Ты – другая. Потому и будет – другое.

– Почему тебе взбрело, что я другая?

– Ну не такая же.

– Как кто?

– Я же сказал тебе, я актер, имел дело больше с актерами, актрисами. А ты не актриса.

– Чего же тебе от меня понадобилось?

– Жизни. Мне нужна живая женщина.

– Куда тебе такая, с которой ты не в состоянии играть?

– Чтобы не играть с ней, а жить.

– Но ты-то – актер.

– Да. Но, повторяю, я одновременно нетеатральный человек. Нетеатральный актер становится шутом. Тебе нужен шут?

– Кроме шутов я никого не встречала.

– Встреченные тобой наверняка не согласны называться шутами. А я согласен. Буду добровольным шутом, а не шутом поневоле. Чувствуешь разницу?

– Чувствую, – Нонна положила Филе голову на грудь.

Ее черные волосы были всегда словно свалявшиеся, и к вечеру – как заспанные.

Под утро Филипп попросил:

– Объясни мне, зачем ты пошла к Лидке?

– Я знала, что ничего там не получится. И была спокойна. Меня часом тянет к разврату. Я посещала нудистов, яшталась с маньяком-расчленителем. Маньяк меня в своем гараже думал обескуражить бензопилами, но не расчленил. В среде нудистов, откаблучивающих голышом, я одна осмелилась танцевать в одежде. Они меня попросили уйти, не омрачать им празднование.

– Почему ты тогда убежала от меня ночью?

– Я не намерена страдать.

– Что же ты делала? Разве не страдала? У Лехи?

– У Лехи? Нет. Для чего у него страдать?

– Почему же со мной обязательно придется страдать?

– Что же с тобой можно еще предпринять?

– Быть счастливой.

– Ага, конечно! – возмутилась Нонна.

– Тебя такая будущность возмущает?

– Да!

– Почему?

– Меня раздражает твоё представление о счастье.

– Ты знаешь моё представление о счастье?

– Меня раздражает, что у тебя вообще о нём имеется представление.

– И моё представление о счастье вынуждает тебя страдать?

– Потому что ты явился с гитаркой, принялся петь. И стал навязывать мне своё представление о счастье. Ладно бы представление – ты само счастье вздумал всовывать. Как ты не опасешься? Лехе – навязывать счастье. За такое могут прихлопнуть.

– Почему ты плакала?

– Оттого и плакала, от твоего счастья.

– Почему ты вчера пошла со мной?

– Ты сам пришел за мной. Я поняла, что ты не отвяжешься.

– Ты угадала.

– Мне надо идти.

Нонна стала собирать свои вещи, разбросанные небрежно по ковру. Длинные руки делали её наклоны легкими.

– Хорошо, – тягостно смирился Филя. – Только, умоляю, не ходи больше к жуткой Лидке. Я надеюсь, не пойдешь?

– Очень надо. Слишком жирно для нее. Я правда не актриса, чтобы на нее горбатиться. Я свои деньги до копейки забираю, ни с кем не делюсь.

– Намекаешь, что я тебе должен?

– Такого ты обо мне мнения? Я предполагала! Конечно, задолжал. Но столько, что так легко не расплатишься, запросто так от меня не отвертишься! Тебе предстоит долго со мной расплачиваться! – Голос Нонны понизился и загрубел.

– Вот и славно. На рассрочку согласен. Ты придешь сегодня?

– Я уже сказала: так просто ты от меня не отмахнешься, – повторила яростно Нонна.

4

В Москве Нонна имела ненадежный, но все-таки заслуженный кров. Она жила у своей наставницы по флористике в двухкомнатной квартире на Мичуринском проспекте. Нонна неспособна была стабильно работать в цветочном салоне, но иногда совершала с цветами чудеса, граничащие с нелепицей. Когда наставница сажала ее продавать цветы, Нонна изводила товар, делала странные букеты. Иной ее букет приносил вдруг солидную прибыль. Но чаще букет увядал некупленный, а товар оставался испорченным. Тогда наставница прогоняла Нонну на четыре стороны. Но когда Нонна, поскитавшись, возвращалась, наставница всегда пускала ее, сажала опять в салоне. То есть крепко верила в ее талант. Дело в том, что без Нонны цветочный салон «Нина» (по имени хозяйки) превратился бы сразу в обыкновенный магазин. Букеты Нонны, пускай некупленные и подвявшие, преображали заведение Нины Андреевны в странноватую цветочную галерею. Некоторые работы, сделанные Нонной из сухих невянущих цветов, составляли постоянную ее экспозицию. Влиял такой статус на ценовую политику – и штучные цветы шли подороже.

Нину Андреевну удивляло, что сама Нонна совсем не напоминала художницу. Одевалась шалая-валяй, если порывалась приодеться, то лучше б не порывалась. Букеты выходили необыкновенные у нее как бы случайно. Нонна составляла их то с брезгливым раздражением, то с рассеянным безразличием, будто бы готовила из них невкусный обед. И составлялось у нее надломленное,

покривленное. Но дивное.

Нина Андреевна не всегда занималась цветами. Получила художественное образование. Писала натюрморты с постоянной мыслью о Ван Гогге, любимом художнике. Но, когда с ней распрощался муж, разуверилась в своем призвании к большому искусству, занялась живыми цветами, начала с цветочного киоска, потом открыла цветочный салон.

Еще в бытность художницей Нина Андреевна обучилась пить водку. Вечерами она ее употребляла исправно. Граница между живыми цветами и нарисованными размывалась. Когда Нина Андреевна выпивала, она делалась ласковой. Обещала Нонне, что начнет теперь писать ее букеты маслом на холсте, акварелью на бумаге и т. д. Уверяла о себе, что обладает достаточным мастерством. Но, зная – как, разве что смутно догадывалась раньше, что – надо писать. В средние века бытовала четкая символика. Например, лимон на столе символизировал бренность бытия, морская раковина – чувственную любовь. Тогдашним живописцам поэтому легче было мыслить одновременно предметно и мистично, создавать выдающиеся – тоже в прямом и переносном смысле – из полотна, натюрморты. Сымитировать старинный способ творческого освоения можно, но воспроизвести вживе – нет, требуется новая предметная символика. Мы же располагаем совершенным предметным хаосом. Но хаос имеет свои законы, свои символы. На эти новые законы и символы чутье ни у кого иной, как у Нонны. Откуда оно взялось – загадка. Но чутье очевидно. Явлено – в ее нелепых и дивных букетах. Которые безотлагательно, начиная с завтрашнего утра, примется писать на полотнах Нина Андреевна.

К сожалению, в действительности атрибутивное противоречие между творческими подходами Нины Андреевны и Нонны и посредством спиртного не размывалось. Обыкновенно Нонна работала так: сплетала из обычных здешних цветов в непредсказуемом их сочетании один гигантский, тугой, нездешний, прекрасный на грани чудовищности цветок. «Уродливое может быть прекрасным. Миловидное – никогда», – уверял Поль Гоген. Нина Андреевна не могла совсем избавиться от миловидности в своих натюрмортах; даже на грани белой горячки не получалось. А Нонна захотела бы, не смогла добиться миловидности ни в своей внешности, ни в букетах.

Ночью Нина Андреевна мучительно трезвела. Кричала от этой муки.

Завтрашнее утро оборачивалась для Нонны руганью, растерзанием ее букетов и новым изгнанием. Вскоре же Нина Андреевна принимала ее опять почти нежно.

И нынче Нина Андреевна встретила Нонну ласково. Усадила обедать. Она пересаливала блюда безжалостно. Нонна, разумеется, терпела, съедала дочиста.

Вся квартира Нины Андреевны была словно бы пересоленной и пережаренной, вещи в ней давно дошли до изнурения. Партии свежих цветов, например, тюльпанов или хризантем, ярчели здесь, как стаи юркой рыбешки в мрачных, покрытых илом каютах потерпевшего век назад крушение корабля. Зато сколько былой жизни ощущалось в утопленных в безбытии вещах! В комнате в серванте под пушистой мышиного цвета пылью, которой коснись – и свежие пузырьки, кажется, взовьются, – стояли тонкие разноцветные рюмки и позолоченные бокалы. Они были забыты под пылью, как клад. Пила Нина Андреевна из скупого граненого стакана. Бытование во второй комнате Нонны представлялось призрачным в том, что нисколько не повреждало слоя мышиной пыли. Тяжелая на живых цветах рука Нонны, на домашней пыли становилась бесплотной.

Нина уютственно присела рядом с Нонной, доедающей подгоревшую и пересоленную картошку, такую же рыбу, – потолковать:

– Как с порноиндустрией? Не заладилось?

– Нет.

– Странно. Ты вроде из пролетарской среды.

– При чем тут наша среда?

– Порноиндустрия все равно ведь индустрия. Фабричный уклад, классовая сознательность, ударный труд, заводская закалка... – подслеповато щурилась в очки Нина.

– У нас никто на заводе не работал. Дед ботинки перелицовывал, в Москву возил. Найдет два разных ботинка, сварганит из них одинаковые, и – в Москву. Пока с

велосипеда не упал. Дед никогда без дела не просиживал. Он и сейчас каждое утро суп ест. А дядя? Что дядя... – Нонна вздохнула. – Дядя на вертолете летал. А жена, врач, от него холодильник заперла на ключ. Разве его удивишь холодильником? Если он приходил к нам и духи у мамы выпивал? Часть в рот, а часть на плешь. Хоть применение давал. Мама-то духи не употребляет. Больше с курами да со студентами. Студенты что куры – бестолковые. От кур – яйца. Со студентов мать взяток не берет. Остальные преподаватели озолотились с ног до головы. А мать до сих пор правды ищет. Больше по мелочевке. Конфеты разве примет. И то месяцами сохнут, меня ожидают. Она мне в детстве ковры, люстры демонстрировала у знакомых. У самой ничего похожего в нашем доме. Так что – голубая мы кровь. Я направилась вроде на панель...

– И как? Удачно?

– Какое там.

– Там – тоже нужна классовая сознательность.

– Классовая не классовая, а какая-то хоть бы требуется сознательность. У меня не имеется никакой.

– Это верно.

– Прицепился еще один. То ли он певец, то ли артист. К нему теперь направиться пора.

– Отрабатывать?

– Нет. Он, наоборот, нацелился вытянуть меня.

– Старая сказка. Причем сказка весьма пошлая. Он пошляк?

– Нет. Он актер, я же сказала.

– Вот видишь, ты сама понимаешь.

– Да. Но в одночасе он нетеатральный человек.

– Он сам признался?

– Да.

– Уже поинтереснее. Нетеатральный человек, эвона как. Этим тебя он обворожил?

– Наверное, Нина Андреевна.

– Мне ли тебя не знать.

– Но он меня, кроме того, сначала испугал. От него я припустила на панель.

– Чем же он тебя испугал? Ты же не из пугливых.

– Гарантией счастья.

– А! – возликовала Нина Андреевна. – Правильно испугалась. Для тебя наиболее опасное – счастье.

– Почему это?

– Ты всякое можешь стерпеть, кроме счастья.

– Неправда!

– Хорошо, если неправда. Но мы обе таковские с тобой. Вот и понимаем друг друга, хоть через пень-колоду, но сосуществуем. А больше с нами никто не уживается. Сама знаешь. Мой муж ко мне никак не хочет забыть дорогу. То с одной любовницей притащится, будто я мать ему, то с другой. Тоскует... Но жизни со мной не вынес. Почему? Потому что – счастье ему нужно. Единственное, что я ему не в силах обеспечить. Салон, правда, держится благодаря ему, разбойнику.

– А что такое счастье?

– Знала бы. Дала ему, не жалко. При Советах считалось, что счастье – это когда тебя понимают. А если сам человек себя не понимает, как ему уяснить: понимают его или нет? То бишь счастлив он или, наоборот, несчастлив? Допустим, его – понимают, он полностью счастлив. А вдруг нет? И он глубоко несчастлив? Я себя не понимаю. Выходит, я несчастлива? Ведь счастье – это когда тебя понимают. И, наверное, прежде всего, – ты сама себя понимаешь. Или при Советах по этому вопросу сильно ошибались? Вся моя беда в том, что я не знаю, что такое счастье. И ты не знаешь.

– Нет, я знаю.

– Ну и что? Что это?

– Поехать куда-нибудь. Куда подальше.

– Вот именно! Сбежать! Счастье для тебя – побег. Побег от себя.

– Не от себя.

– Хорошо – от меня. Какая разница? Мы с тобой под одну гребенку. Лучше скажи: ты намерена возвращаться к работе?

– Не сейчас. Мне еще промежуток нужен, и тогда я вернусь обратно.

– Тебя месяц не было – «промежуток»!

Нина глянула исподлобья, но поверх очков, это был незрячий взгляд укора, без очков она почти не видела.

– Ну не впервой же... – отмахнулась с горьким азартом Нонна. – Еще несколько деньков. Последняя попытка счастья, а?

– Попытай, попытай. Попытай своего нетеатрального человека, сделай из него театрального. Чтобы неповадно ему стало выдергивать и расточаться насчет счастья. Проучи его.

– Почему я должна его проучивать? Он мне ничего вредоносного пока не причинил.

– Как посмотреть. Знаешь, почему он тебе сулит счастье?

– Почему?

– Потому что испугался. Он боится тебя. Вот и носится за тобой со своим счастьем.

– Правильно поступает, что боится. Я их всех проучу. Он у меня попляшет. Правда, избегать ему нечего. Очень надо, пугать его, не велика птица-синица. Чего ему опасаться? Хотя, конечно, есть чего.

– Я же говорю, старая сказка и тривиальная. По себе знаю. Они – почему за нами с тобой бегают? Чтобы мы лишили их счастья. Взяли его у них. Они сами не выносят своего счастья и пытаются нам его сбегать как свободным от этого груза. И так и эдак навязывают. А мы не берем, кидаем им обратно в рожу. Они и ходят к нам, как мой муж, непрерывно. Они, счастливые, завидуют нашему несчастью.

– Потому что вы меня, Нина Андреевна, в такую превратили.

– Может быть, может быть... – затуманилась Нина. Она сегодня употребила свое и начинала клевать носом.

– А почему это? – спросила Нонна. – Почему он обязательно, по-вашему, боится меня?

– О, страх – движущая сила... Если им не страшно, им скучно.

– Кому им?

– А... им... – Нина заволоклась дремотой. С выбившимися на лицо волосами, частью седыми, частью рыжими.

Клёнов выбежал на улицу. Поспешил к стоянке такси.

– Нужна девочка, – освоившись, объяснил он.

Позвали вчерашнюю Лидку.

– Понравилось? – сообразила она.

Пошли как давеча во двор. Лидка опять вызвала из темноты несколько фигур. Нонны среди них не было.

– Где Нонна? – спросил Филя.

– Что тебе Нонна? Другую выбирай. Нонна работает. Ты ее приструнил. Молодец, настоящий мужчина. Я к тебе всегда буду новеньких отправлять. Если ты, естественно, не против.

– Я не верю, что Нонна, как вы выражаетесь, работает.

– Не веришь?.. Что же мне сделать, чтобы ты поверил?

– Ничего не надо делать. Ты Леху-Фонаря знаешь?

– Какой ты глупенький. Ладно. Тунейдка твоя Нонка, не хочет работать. Но я ее все равно так просто не отпущу. Это не по понятиям. Раз пришла, будь добра, работай. Нечего было приходить. У меня солидная фирма.

– Сколько тебе надо, чтобы ты ее отпустила?

– У тебя столько нет.

– Есть фамильное золотое кольцо, толстое, старинное.

– Деловой разговор!

– Где Нонна?

– А где кольцо?

– Сейчас будет. Только ты никуда отсюда не уходи.

– Жду, жду, милый, – Лидка сблизилась и послала ему воздушный поцелуй.

Филя поспешил домой. Возле подъезда стояла Нонна.

– Ты как здесь?

– Ты ж сам зазывал.

– Ты вырвалась от нее?

– От нее нет необходимости вырываться, она сама вышвыривает.

– Она тебя выгнала?

– Я никому не позволю себя выгонять. Я сама или уйду, или остаюсь. Она меня выгоняет, по ребрам костяшками хлещет, а я не уйду. Она, глядишь, размякнет, тянет ее поглаживать. Я тогда уйду. Оставляю ее посреди вянущих цветов. У нее в квартире спертый дух гнилых цветов. Я привыкла давно, но если долго не прихожу, заново воротит.

– Цветов? Зачем ей цветы? Я ей кольцо за тебя пообещал, золотое, бабушкино. Ты, наверное, уже в курсе, раз появилась. Она, значит, мне доверяет? Без кольца тебя отпустила?

– Кто?

– Как кто... Лидка.

– Лидка верит только в продажную любовь. Она у тебя продажная и есть, раз ты ее за кольцо приобретаешь. Только намотай себе: одним колечком ты затраты не покроешь.

– Так Лидка больше просит? Я предполагал. Вы меня с ней раздеть решили?

– Очень нужен ты, сам раздевайся.

– Так что же вам нужно?

– Почему – нам?

– Тебе и Лидке.

– Тебе, по всему видать, с Лидкой что-то нужно. Только меня в свой отврат не втягивайте!

– Я не понял... Ты у Лидки сейчас была?

– Очень мне твоя Лидка необходима. Ты на нее запал? Так отправляйся к ней. Хороша парочка! Вы подходите друг дружке, оба артисты. А мне ваш театр мерзок!

– Ты ведь сама сказала...

– Что сказала? Тебе слова мои нужны?

– Какие слова?

– Я не знаю, какие у вас слова. Слова для меня ничего не значат.

– Почему?

– Потому что все равно все врут.

– Ты где была?

– У Лидки.

– Как...

– Если тебе хочется, если ты так уперся – то у Лидки. Я буду говорить, что тебе хочется слышать. Правда – это то, что хочется слышать.

– А вранье?

– Тебе-то, я, конечно, понимаю, приятнее слушать вранье.

– А тебе приятнее слышать правду?

– Какая разница. Все равно ты не способен. Надо было у Нины остаться. Она пускай кричит, стонет и рычит по ночам, но ничего, я приспособилась, меня этим не проймешь. Меня вообще ничем не проймешь и не припугнешь, так и запомни.

– Я тебя запугиваю?

– Сейчас! Чего захотел! Это я тебя запугиваю.

– Зачем?

– Чтобы неповадно было.

– Что неповадно?

– Всяким Лидкам кольца золотые предлагать.

Поднялись в квартиру.

– Кто такая Нина? – спросил Филя.

– Мой мастер.

– Мастер?

– Да, цветочный. Я у нее проживаю.

– А Леха?

– У Лехи я на отдыхе пребывала, а у Нины я вкалываю.

– Ты цветами занимаешься?

– Я флористка.

– Любишь цветы?

– Ну так, не слишком. Меня прохиндей один прирастил. Я больше люблю цветы портить. Нине нравится. Она заявляет, что я зверь в цветах.

– Так ты у нее живешь?

– Да.

– Живи теперь у меня.

Нонна прильнула.

– Это официально? – спросила она.

– Конечно. Раз явилось кольцо, не может оно так просто оставаться в ящике. Предметы этого не прощают.

– А что они, мстят, да?

– Нет, просто не прощают. Это похуже мести. Мести можно противодействовать, а если тебя просто не прощают, ничего не сделаешь, хоть ты тресни.

- А почему надо обязательно кого-то прощать?
- Ну как... В этом вроде бы смысл существования.
- А я полагаю наоборот, смысл сосуществования – как раз не прощать. Прощать надо только тогда, когда тебя прощают.
- Кто-то должен простить первый.
- Я первая прощать не собираюсь.
- Кого прощать?
- Не волнуйся, у меня отыщется кого прощать.
- Счастливая.
- Потому что, если прощать – такое уж счастье, я его лучше приберегу. А ты поспешил всех простить, все свое счастье полностью израсходовал.
- Всегда найдется кого простить.
- И ты выискиваешь, кого бы тебе простить? Меня ты тоже завлек, чтобы простить?
- Возможно.
- Сама я тебя не интересую?
- Сама ты мне необходима.

Филя привел Нонну к строгому настоятелю храма, в котором работал. Нонна надела в храм кургузую черную мини-юбку, что настоятелю, ясно, не

понравилось. Он отложил венчание на полгода. Свадьбу послушно отложили, но жить продолжили вместе. Нонна сделалась долговременной невестой. Матери Фили и Нонны отнеслись тоже неоднозначно. Мать Фили Вероника помолчала, сказала: «Что ж, женись. Если сейчас не женишься, не женишься никогда». Мать Нонны спросила у Фили по телефону: хороший ли он человек? Когда трубка вновь оказалась у Нонны, спросила: а не восточный ли жених? Фили не говорил с каким-либо акцентом, однако его манера изъясняться показалась Таисье Федоровне столь странной, что она подумала: а не восточный ли? Когда же он приехал под благословение в Заболоцк, Таисья Федоровна изумилась его белым брюкам посреди белой зимы и страшно оскорбилась рвению Фили вымыть после обеда посуду. Жить имелось где, в отцовской Филиной квартирке. На полгода будущее более-менее проглядывалось.

Нонна в неустроенности на Мичуринском всю вину возлагала на Нину Андреевну. Что, дескать, она в подражание старым мастерам относится к цветам так же, как к фруктам, почему превратила квартиру в сходный с фруктовой базой протухающий цветочный склад. Но на поверку выяснилось: с надеждами на дизайнерский рай в своей уютной квартирке Фили полностью прогадал. Нонна оказалась по бытовой части совершенным нулем. Быт ее просто не интересовал. Разве что умозрительно: некий грядущий дивный быт, по всем признакам потусторонний, за гранью герани. Так в деревенских избах за пламенной геранью рай, из избы он снаружи, в изумрудах, а снаружи он в избе, в ее глубинах, сладкой, как вода в дождевой бочке. На самом деле пламенный рай в самой герани, он недостижим и одновременно под рукой постоянно, в обиходе. Хотя Нонна, странное дело, – цветочница, комнатные растения не поливала, они в порошке уже стояли. Пламенная герань в сухом порошке угрожала взрывом, но – взрывом цветочной фантазии Нонны. Она, как свирепый военачальник, находила радость в цветочных муках, надменно шествовала мимо сиротливых горшков. И готовила Нонна кое-как, по принципу: чем хуже сготовлено, тем дольше простоит, и постоянно дом – полная чаша. Когда прогоркнет, прокиснет и заплесневеет, тогда из чаши и выплеснуть не жалко. Готовила с тем же ожесточением, с каким букеты составляла. Ностряпня не терпит ожесточения вопреки цветам. Цветы бескорыстны, а еда чревата в прямом значении слова. Путь к сердцу мужчины прокладывается через желудок. Эта сытая мудрость вызывала у Нонны негодование, омерзение. Ей больше по душе было нарушение пошлого закона отправлением предназначенных сердцу гастрономических масс обратным ходом посредством двух пальцев. Чтобы мужское сердце оставалось голодным и бескорыстным, как цветок, в идеале – как засохший цветок между страниц поваренной книги. При таких твердых принципах нечего помышлять о комфорте, уюте, тем более – дизайне.

* * *

Легким, как шаги по подводным ступеням, вечером Нонна дремала с подушкой поверх головы. Филя празднично сидел рядом. В квартиру позвонили.

– Кто это? – Филя встревожился смутно.

– Да мало ли, – ответила Нонна небрежно из-под подушки.

– Вдруг Лидка за кольцом пришла? – улыбнулся подушке Филя.

– Ну конечно. Она что тебе, привидение?

– Скорее разбойница.

– Скорее уж привидение, – сказала Нонна и прижала длинной рукой подушку к голове теснее.

Филя открыл. На пороге стояла светловолосая девушка, глядящая одновременно с вызовом, жалостью и насмешкой. «Нонна была права, – подумал Филя. – Действительно привидение».

На пороге стояло то, что было забыто в мельчайших подробностях. Бережная память рачительно сохраняет самое дорогое, еще рачительней она это дорогое переводит к забвению. Филя удивился, что – узнал. Потому что он и сейчас, лицом к лицу, не помнил. Права Нонна: привидение.

– Даша. Никак не ожидал тебя увидеть. Хотя нет, ожидал, – сказал Филипп, словно с шагу опьянел.

– Ты ждал меня? – с любопытством спросила Даша. – Но я здесь случайно, абсолютно случайно. А ты меня ждал. Как это классно!

– Да я не ждал, успокойся. Не тревожься так.

– Я была на рок-концерте, здесь поблизости!

– Ну и как?

– Классно!.. А что ты меня держишь на пороге?

– Да я ведь не один.

– Как то есть не один? С бабой? – Даша осклабилась.

– С невестой.

– А я тогда кто? – вздрогнула недоуменно Даша. – Я ведь извечно оставалась твоей невестой.

– Ты хочешь ей оставаться?

– А почему нет?

– Ты хочешь вернуться ко мне?

– Может быть.

– Ты ведь раньше не прощала измен.

– Я по-прежнему не прощаю. Что это меняет? Разве обязательно друг друга прощать? Не прощать интереснее. Впрочем, я тут случайно. Мне позвонить надо, деньги на телефоне кончились, такая незадача. Вообще: дай, думаю, загляну.

– Значит, ты все-таки не хочешь быть моей невестой?

– Зачем хотеть того, что уже есть? Я и так твоя невеста, вечная, потому я не могу стать твоей женой.

– Нет, так не годится.

- Получается, ты предал меня?.. Да она не любит тебя, твоя невеста.
- Откуда тебе знать? Ты ее и не видела.
- Я чувствую, что тебя здесь не любят. Я ведь не только невеста, я еще и сестра твоя.
- Мамы виноваты: назвались сестрами и вакханками, воспитали нас как брата с сестрой, мы и перепутали, на каком мы, собственно, свете.
- Зато мы узнали, что такое счастье, – ободрила Даша.
- Ты ведь не считаешь это счастьем. Я считаю это счастьем.
- А я верю тебе. Если ты убежден, что это было счастье, значит, оно так и было.
- Но я уже не убежден.
- А я все равно верю... Ну – не знаю. Я думала к тебе заглянуть, по старой памяти.
- Я ждал тебя семь лет.
- Капельку не дождался.
- Если б я тебя дождался, я б тебя порешил. Во всяком разе, выгнал бы. Для того и ждал.
- Ты всегда меня для этого ждал. Но всё кончалось хорошо.
- Вот и кончилось хорошо.
- Кончилось? Можно я на кухню пройду, мне позвонить надо, на мобиле деньги... – Даша пустилась в коридор стремительно, с прискоком. – Давненько здесь не была. Вот опять здесь, фантастика!

В коридоре ей преградила путь Нонна.

– Здравствуйте! – сокрушенно обрадовалась ей Даша.

– Кто это? – спросила Нонна жестко.

– Я его невеста, – указала за Филю Даша.

– Мне уйти? – через Дашину простоволосую светлую голову (она была заметно выше ростом) спросила Нонна.

– Даша шутит, она не невеста. Познакомься, Даша, это Нонна, моя невеста.

– Мы обе над тобой подшучиваем, – уточнила Даша. – Обе твои невесты над тобой подтрунивают. Над тобой трудно не шутить! Но Нонна – не смеется... Нонна, отчего ты не смеешься? Ладно, бывайте. Помнишь, ты, Филя, неустанно искал праздника, изнывал по нему? А побегу на него сейчас я. Вот так. Хоть он мне не очень-то сдался. От праздника надо уметь отказываться. А ты!.. – она кивнула Филе на Нонну. – Ты ведь меня почти что сызмала, как собаку, приучил страдать, планомерно приучивал... Он всегда был расчетливым. И на тебя, Нонна, у него есть какой-нибудь расчет, будь уверена. Но не тревожься – расчет бескорыстный. Хотя, по правде говоря, бескорыстные расчеты страшнее корыстных. Да что я плету... Это ведь всё не мое. Это ведь всё его, – она указала опять на Филю. – И, наверно, твое, если ты с ним. А я поспешу на праздник.

– Поспешай, – напутствовала Нонна. – Только так и намотай себе, это всё – твое добро. Забирай с собой всю эту скверну, она нам тут не пригодится.

– Что ж... – Даша всплеснула растерянными руками. – А ведь капельку не дождался, самую малость, чуток не дотянул. – Она рассмеялась. – Вот тебе кара за меня! Я думала сама тебя покарать, добить. Для чего, собственно, и убежала. Но жизнь, вижу, за меня отомстила. Ухожу с легким сердцем. Эх, Филя, Филя! А я ведь во снах тебя проверяла, готовила тебя, я думала о тебе, оттого тебе снилась. Думала, как тебя простить. И вот – простила! Прощай и ты.

– Ты откуда про сны? – скривился Филя.

Даша махнула ему с лестничной клетки.

– А ты уши развесил! – презрительно уличила Нонна. – Мы уйдем с ней вместе. На праздник!

– Нет. – Филя захлопнул входную дверь. – Она пусть идет, а ты останешься. Знаю я твой праздник. Ничего ты этого не можешь и не умеешь. Но как она про сны?

– Я тоже могу про сны. Любая баба способна про сны. Что ж, вот эту любишь? Достойный предмет. Только учти, ваши московские разборки, ваши аханьки и охоньки мне не надобны. Не для того я прибыла в вашу гребаную столицу, чтобы принимать участие в ваших играх. Ты не любишь меня, ты просто похваляешься перед самим собой. Перед другими хвастаться боишься. Потому что другие уведут меня у тебя на праздник. А перед собой, конечно, хвалиться можно. Как же? Ты же меня спас, выволок из могилы, в которой я стояла двумя ногами. Только почему ты уверен – из могилы? А если я клад в могиле искала, нащупывала его уже в грязи голыми пятками? А ты мне помешал. Теперь я обязана проживать чужую жизнь, твою жизнь, а она уже произошла с этой бабешкой. Это я спасла тебя, она бы добила тебя сейчас. И правильно бы поступила.

– Главное, – уточнил Филя, – что если ты стерпела эту мыльную оперу, значит, ты и есть ангел из могилы с кладом, ангел из собачьей жизни.

– Ты не сделаешь из меня ангела! – завизжала Нонна. – Тебе не удастся! Какая подлость: из меня, ведьмы с родинкой в паху, делать ангела... Родинку в паху тебе показать?

– Видел я твою родинку.

– А я опять покажу! – Нонна задрала подол халата. – Вот гляди.

Филя отвел глаза.

– Нос воротим? То-то. Подними перед тобой подол твоя Даша, ты бы нос не прятал! Не смей делать из меня ангела! Это Даша твоя – ангел. А я – черт. И не порывайся проживать с чертом, полагая, что проживешь с ангелом. Хочешь

сидеть на сковородке, полагая, что уселся на облаке. Ты шлепнулся с облака, а ангел твой, Дашенька твоя, предоставила тебе последнюю попытку. А ты упустил! Только мне ты тоже не нужен.

– Не ярись, Нонна.

– Гад ты! – заплакала злыми слезами Нонна, пухлые ее губы по-детски растянулись.

7

Спустя несколько дней Клёнов позвал в гости друга своего Женю Подоконникова. Подоконников застал Нонну, когда она опаздывала в цветочный магазин.

Нонна была талантлива в коротком общении. Мелькнув, она поражала. Потому, чувствуя свой талант, она постоянно норовила убежать, ускользнуть. Кошка видит отчетливо только движущиеся предметы. Сидит кот на скате крыши, созерцательно ждет, когда кленовый лист сорвется с ветви. Так, в неподвижности, кот видит лист смутно. Лист срывается, кошачьи глаза осмысливаются, загораются зорким изумрудно-золотистым светом. Кот видит лист так, как его никто никогда, кроме него, не рассмотрит. В самые эти секунды кот получает общеизвестную свою внутреннюю свободу, отпускающую его гулять самого по себе. Нонна мигом своего появления и исчезновения дарила людям кошачье острое счастье отчетливого созерцания. Настоящее счастье отчетливо. В некоторой мере сквозь воду осенней лужи тот же кленовый лист виден в чистоте кошачьего восприятия. В этом – отчетливое счастье осени. Подоконников почувствовал в душе чистейший глоток прозрачной осенней лужи. Нонна улыбнулась ему, бросила два несущественных слова, но одинокие, как у собаки, глаза Подоконникова на весь последующий вечер наполнились мудрым кошачьим сиянием.

Подоконников – преданный человек с напряженной улыбкой. В прошлом – кудрявый отрок. Старинное мраморное отрочество в нем осталось, но смуглый мрамор дал фаянсовую трещинку, морщинку на выпуклом лбу. В глазах отражается парад, медь полкового оркестра. Любовь к военной истории, тяжкое умиление, скромная горячка. Парковый парад, листья лип иссушают высокий дождь; так истово одинокие глаза иссушают слезы. Оттиск солдатского сапога в

карей глине, запах солдатских сапог проносится, как мечта о горячем чае. Мраморный отрок потупился, крутой кудрявый затылок внимает шелесту.

Сели в комнате с надежной бутылкой крымского портвейна.

– Я тебе завидую, – сообщил Женя. – Причем по-хорошему завидую, – подметил он.

– А как ты определил, что завидуешь? – заинтересовался Филя.

– Как, то есть, как?.

– Ну, ты ведь не Сальери, чтобы осознавать свою зависть. Да и Сальери осознает ее в угоду публике, чтобы сорвать аплодисменты. Настоящая зависть тем и плоха, что ее осознать нельзя.

– Добрую, хорошую зависть – можно. Надо только взять на себя мужество.

– Замысловато. Тут и мужество тебе, и добрая, хорошая зависть.

– А что ты ершишься?

– Я не ершусь, я резвлюсь. Перевожу всё в шутку, сношу, так сказать, оскорбление, беру на себя мужество.

– Ты о чем?

– О том, что – никогда не хвали перед мужем его жену. И свою тоже не хвали. Ни в очи, ни заочно.

– Но у меня нет таковой.

– Будет. Ты станешь со временем страшным подкаблучником, ужасающим.

– Ты знаешь, мне кажется, что, наоборот, я жене буду жутко изменять, на всю ивановскую.

– Всем подкаблучникам загодя так кажется. А ветреники, те убеждены в своей грядущей верности. А может, ты, так сказать, стяжаешь ратной славы?

– Что за дичь...

– Ты ведь увлекаешься военной историей...

– И что с того?

– Может быть, ты увлекаешься, потому что ждешь боевую подругу? Ждешь свою Жозефину, свою леди Гамильтон?

– Нет. Я просто хочу стать учителем истории. Бросить офисную суету, одинокие коммерческие командировки и учить детишек истории.

– Где ты раньше был? Почему сразу не пошел на исторический факультет?

– Не пошел, потому что ты меня заморочил.

– Чем?

– Праздником. К которому я не предназначен. Только недавно я понял, что настоящий праздник в прошлом. В историческом прошлом. Там мой триумф. – Женя влажно глянул исподлобья.

– И вот – ты хочешь стать школьным учителем истории. Ты станешь учителем. Тогда к тебе спустится твоя Валькирия, твоя леди Гамильтон. Ты изранен однообразием дней, как адмирал Нельсон. И вот звучит школьный звонок и входит в класс она, с высокой прической, ястребиными бровями...

– Я изранен, как адмирал Нельсон, не однообразием дней, а тобой.

– Скажешь тоже. Я дал тебе в зубы раза два. Веником, правда, еще хлестнул по роже и с загипсованной ключицей в лужу на школьном дворе уложил...

Женя качнул головой с уязвленной иронией:

– Конечно, это пустяки. Но я не об том. Ты заставлял меня смеяться над собой и сейчас заставляешь. А я не по этой части. Ты дезавуируешь мою мечту и заставляешь меня же смеяться над ней.

– Так проявляется моя забота.

Женя глянул почти злобно, что Филю растрогало еще больше.

– Ведь всё в жизни наоборот, как ни печально, – воскликнул он. – Я всегда любил в одежде больше изнанку, подкладку, чем лицо. Вот у нас в отчизне подкладке не уделяется должного внимания. А зря, очень зря. А за бугром какие подкладки делают! Любо-дорого! Входишь в пальто, как в сказку. Это потому, что они там давно смекнули, что изнанка – это лицо, а лицо – изнанка. Вот говорят: изнанка жизни. А изнанка жизни и есть ее подлинное лицо.

– Все-таки нехорошо говорить, что лицо – это изнанка. Лицо – это лицо.

– Да я ведь об одежде, я о бутафории, об условиях общежития, а не о лице.

– Тогда ладно. Это – может быть.

– Ну вот ты и сдался. И затомился, и заупрявился, как единорог!

– При чем тут единорог? Сказал бы просто: как осел.

– Единорог – животное сказочное, чудесное, отчасти эсхатологическое. А ты такой и есть, мамочка.

– Вот уж я и единорог, здрасте, приехали! Мне как раз этого для полного счастья не хватало. Ты, пока человека не выведешь из себя, не вывернешь его наизнанку и не приставишь ему рог – не успокоишься.

– Я просто хочу как лучше. Я ведь бескорыстно.

– Что бескорыстно – понятно. Но для чего, для чего? Человек обижен. И дальше что? Беспримесное страдание? А так ли уж верно, что страдания исцеляют

человека? Если исцеляют, то должны ли они быть вот такие экспромтные, такие фокуснические, как услуженные тобой? Уверяю тебя, человеку в жизни – хватает. Каждый человек рождается и умирает. Этой трагедии и этого величия всякому за глаза хватит.

– И что теперь делать?

– Неужто издеваться?

– Хорошо, если не издеваться, то что?

– Уважать друг друга.

– А если, издеваясь, я как раз и плачу над тобой от уважения?

– Пинками такого плакальщика!

– Меня?

– Не тебя... Да хотя бы и тебя, в крайнем случае!.. Или ты меня. Всё лучше.

– Конечно, лучше. Я о том и говорю. Помнишь, в классе пятом, я после летних каникул пришел к тебе и обнял тебя в дверях?

– Помню.

– Что ты тогда почувствовал?

– Натужность.

– Вот-вот. А я ведь был совершенно искренен. А когда я, как ты говоришь, издеваюсь, что чувствуешь?

– Обиду, что.

– Натужную?

– Нет, вполне естественную.

– То-то. Я о том и толкую.

– Да, но есть другие варианты.

– Какие же?

– Просто уважать друг друга.

– Опять – уважать... Люди, знаешь, они, если не делают мелкую подлость открыто, простодушно, то, значит, готовят подлость крупную.

– Это уже не люди, а г на блюде. Я не очень понимаю всего того, что ты говоришь. Но – когда ты успел так в людях изувериться? Неужели так сильно в них верил, что так, в одночасье, разуверился? И веришь в одни подковырки.

– Но ведь ты меня и сам сейчас подковырнул.

– Да я не подковыривал...

– А, понимаю: ты прослезился. Ну слезись, слезись. Только, прошу тебя, не от зависти.

– Я тебе и завидую, и не завидую.

– Вот и правильно! Камень с сердца сошел.

– Твое счастье, что я тебя до конца не понимаю.

– И твое в том же: что ты меня не понимаешь. Да... А я понимаю, что как поймешь что-нибудь, самое простое, пустяшное, сразу оказываешься в дураках, ощущение, будто тебя разыграли. Следовательно, лучше разыгрывать самому.

– Себя, – уточнил Женя.

– Себя – в том числе.

– Но сколько веревочке не виться...

– Это если у веревочки концы не связать. У Лобачевского было двенадцать детей. Он и доказал, что параллельные линии пересекаются. Только с двенадцатью чадами такая мысль может прийти в голову. А ты про веревочку.

– А я про веревочку, – согласился Женя.

Бутылка опустела, понадобилась другая: еще надежней, такая потребовалась, которая встала бы твердыней, как волнорез перед вечерним штормом чувств и предчувствий. Сходили вполоборота друг к другу, как жонглеры, за второй. Вернулись, устроились с бокалами вольготно: Женя погрузился в кресло, Филя раскинулся на тахте.

– Ты – чудо, – как бы оправдываясь, рассуждал Женя.

– Откуда ты меня знаешь? – с загадочной жаждой спросил Филя.

– И я скоро забуду, что ты чудо, – пообещал Женя. – Ты меня переоцениваешь. Точнее, не забуду... Не совсем забуду. Буду знать, что где-то влачит существование мой дружок, который безусловно чудо. Но эта мысль будет досаждать мне, томить меня в неволе.

– Ты что, совершил какое-нибудь преступление, что собрался в неволю?

– Я о другой неволе.

– А! Ты скоро женишься?

– Да, я скоро женюсь. И у меня дурные предчувствия. Я схожу с ума от предчувствий, тем страстнее хочу жениться.

– Нельзя ли тебе пожить с женщиной просто так?

– Нельзя.

– Почему?

– Потому что ее у меня нет.

– Найди.

– Не могу.

– Почему?

– Потому что женщин вокруг пруд пруди, сплошные женщины, ткни пальцем в пространство, ойкнет женщина.

– Вот и бери ту, которая ойкнет.

– Ты же знаешь, я не буду тыкать. Если тыкну, то в тебя. Потому что я боюсь неизвестности. А женщина – это неизвестность. Вот в тебе нет неизвестности, в тебе все озвучено, как в опере Верди.

– Ты знаешь, я Верди не очень.

– А я – очень. Я люблю и Верди, и тебя, совмещаю несовместимое. Я тесный человек. Свободной женщине будет тесно со мной. Я боюсь ошибиться, потому что это будет навсегда. Я никогда не мог постичь: как ты сегодня зачарованно гуляешь с ехидной шатенкой, завтра уже приветливо улыбаешься преданной тебе в доску скуластой блондинке, а послезавтра ты жених Нонны.

– Да, ты прав, у человека вызывает восторг то, чего он не понимает.

– Ты всегда восторгал меня, оттого я по мелочам, по пустякам предавал тебя в школе, дразнил заодно с другими.

Хлопнула входная дверь. Вернулась Нонна.

– Вечер добрый, Нонна, – многозначительно встретил ее Женя.

Вместо ответа Нонна совлекла с себя малиновый мохеровый свитер, осталась в лифчике, а свитером запустила в то кресло, в котором сидел Подоконников. Тот цепко поймал свитер, выпучил на Нонну глаза. Глаза блеснули, но блик на его смуглом лбу блестел ярче. Выпуклые губы приоткрылись изумленно, словно он, как рыба, искал потерянную влагу.

– Может, ты еще лифчик сдернешь? – спросил Филя, приосанившись на тахте.

– Могу и лифчик, если хорошо попросишь!

– Давай, покажи себя.

– Сейчас! Вы тут пьянствуете, а я устала после работы. Тебе не приходит на мысль? Я знаю, тебе приходят в голову только витиеватые мысли, а простые твою голову обходят стороной. Но вот ты, Женя, попроще. Ты, я предполагаю, понимаешь, что я устала и хочу спать? Я просто раздеваюсь с намерением лечь спать. Присутствуете вы, отсутствуете, мне на это все равно, накроюсь подушкой – и нет вас. Ты, я предполагаю, понимаешь, если он не соображает ничего? Тоже молчишь? Я выключу сейчас вам свет и лягу спать, можете просиживать в темноте.

Нонна вправду выключила свет, но сама не легла, вышла из комнаты.

– Мне, наверное, лучше исчезнуть, – нарушил тишину Женя.

– Мы и так вроде как исчезли. Я, например, тебя не вижу, – ответил Филя. – Не вздумай убежать и оставить меня в идиотском положении, это будет подло.

– Ты же знаешь, меня это никогда не пугало, – напомнил Женя.

– Это не по-товарищески. Ты же сентиментален до мозга костей: способен совершить подлость, но не в состоянии поступить не по-товарищески. Оттого ты останешься.

– Да, я sentimentalен, правда, поэтому я убегаю. Нонна ошеломила меня своим свитером. А я ведь действительно посчитал ее идеалом.

– Она и есть идеал. Только не твой, а мой. Мне сейчас необходимо скрыться, от идеала надо убегать, тем более от такого. Пойдем допьем нашу несчастную бутылку на улице.

– Пошли.

Закупорили на ощупь ополовиненную бутылку, свет почему-то заново включить не сообразили. Вышли.

На улице Филя заметил, что Женя стал как будто какой-то злой.

– Ты чего вдруг озверел?

– Да так...

– Из-за свитера?

– Не только.

– Да скажи, что из-за свитера.

– Не нравится мне все это, – признался Женя. – Не спорю, это прекрасно, но представлениям моим не соответствует.

– Где ты отыскал такие представления, которым ничего не соответствует?

– Не знаю, где-то накопал.

– Ты разглядел Нонну с двух сторон, светлой и темной...

– Ты уверен, что я разглядел?

– Не уверен. Но, по крайней мере, ты их засвидетельствовал. Понимаешь в чем дело... Я передумал было с тобой обсуждать, но брошенный в тебя свитер решил дело за разговор.

– Что за разговор такой, что к нему так издалека приходится подступать?

– Разговор следующий. У меня, как ты знаешь, уже была семь лет назад невеста.

– Что-то знаю, но не подробно. Мы ведь на то время разошлись.

– Ты о той компании?

– Да нет...

– Ну как нет. Ты об том, когда ты пришел ко мне на день рождения, а я тебя не пустил в квартиру. Принял подарок и закрыл перед тобой дверь. Но ты не должен усматривать тут предательство.

– Я не усматриваю. Хотя, по чести говоря, что тут другое усматривать, не пойму.

– Заботу, – подсказал Филя.

– Опять заботу? Что ты врешь. Ты просто испугался, что я сорву тебе праздник.

– Положим. Ну и что? Если бы ты сорвал праздник, наверное, не сильно сам бы порадовался. Есть, конечно, разряд, для которого радость – в срыве чужого праздника. В срыве такие обретают собственный праздник. Но ты-то не таков.

– Как знать.

– Не наговаривай на себя.

– Я не наговариваю. А если праздник каждый раз надо брать с боя, если праздник как трофей, точнее, он и есть трофей? Обернись в историю, увидишь, что праздник и тут и там завоевывался или отвоевывался. Получается, не я тебе, а ты мне тогда сорвал праздник. И чем, разве как предательством, поступок

твой назвать?

– Лишить праздника – предательство? Да брось ты. К тому же ты, Женя, и сорвешь праздник, но не возьмешь его себе. Словно бы оставляешь его стыдливо на земле. И что хорошего? Сорвал бы ты нам праздник, а сам бы им не воспользовался. Сидели бы мы все скованно, озлобленно и рассматривали его вчуже, как узор на ковре.

– Рассматривать узор на ковре разве не праздник?

– Праздник. Но я говорю о другом празднике.

– А нужен ли другой праздник? Бывает ли вообще другой праздник?

– Ты хочешь сказать, что истинный праздник только в узоре?

– Пожалуй.

– Я понимаю. У мусульман и иудеев не принято изображать людей и животных. Но у нас принято. В исламе и пить вино запрещено. Но у нас разрешено. В твоём отрешении от чужого праздника есть исламская доблесть. Но ты ведь все-таки не мусульманин.

– Нет.

– Почему я тебя тогда и не пустил.

– Потому что я не мусульманин?

– Пожалуй. Отчасти. В тонком смысле.

Женя кивнул скептически.

– Но, знаешь, – заметил Филя, – я потом за разборчивость свою и тонкий смысл был наказан.

– Как? – печально спросил Женя.

– Ты, когда пришел ко мне, нес с собой подарок.

– И что?

– Я подразумеваю не тот подарок, который ты мне вручил. А тот, от которого я отказался.

– Что же за подарок? Не припомню, чтобы ты от подарков отказывался.

– Обстоятельства! – провозгласил Филя.

– Что?

– Ты торжественно и преданно нес мне обстоятельства. Я пренебрег ими и вывалился из них. Вместе с ней вывалился.

– С кем?

– Она участвовала в том празднике, моя бывшая невеста. Я не пустил тебя, пренебрег главным твоим подарком – обстоятельствами. И вывалился вместе с ней из них.

– Но потом-то в обстоятельства пришлось вернуться.

– Да. Не по своей воле. Была, конечно, вне обстоятельств тревога за обстоятельства: как они там без меня? И тревога, выяснилось, не напрасная. Обстоятельства словно бы обособились, сговорились как будто против меня. А точнее, они стали существовать вчуже от меня. Я вроде вернулся, но они не приняли меня.

– Почему же... Я тебя принял.

– Ты, пожалуй, единственный. И если бы я тогда, в день рождения, тебя впустил, ты бы потом, может статься, и не принял меня.

– Ловкая риторика. Почему же я бы тебя не принял?

– Это непростой вопрос. Сразу я и сам не могу на него ответить. Я ведь не всё могу объяснить.

– Неужели?

– Хотя нет, наверное, могу. Я приберег для тебя тот не даденый тебе же праздник. Потом я все равно его тебе дал. Вот почему мой выверт на пороге не был предательством.

– Наверное, ты прав, – Женя посмотрел преданно.

Филипп сразу его преданностью воспользовался.

– Моя прошлая невеста объявилась на днях. Я просто не знаю, что делать и как к этому относиться. Ты, будучи человеком извне, человеком обстоятельств, вдруг надоумишь меня?

– У меня, ты знаешь, по части таких обстоятельств мало опыта. Можно сказать, его нет совсем.

– То и ценно. Ты не примеряешь на себя.

– Почему ты думаешь, что не примеряю? В примерке обстоятельств особая фантастичность и одновременно особая достоверность. Я бы даже сказал, очевидность.

– В несбыточности?

– Как раз наоборот. Всё сбудется. В этой фантастичности заключено особого свойства ясновидение. Всё сбудется, но неожиданным образом.

– Я вот и рассчитываю на твое ясновидение.

– Но это мое ясновидение. У тебя должно быть свое. Ты придерживал от меня свой праздник. Я придерживу от тебя свои прозрения.

– Это месть?

– Хочешь – так думай.

– Но я-то потом выложил перед тобой свой праздник.

– Вот именно что – выложил. Что ты хочешь услышать? Нонна, конечно, замечательная, но свитер ее, конечно, странен. Я не понял ее свитера. А ту прошлую твою девушку я не знаю, как ни крути. Ты тогда меня не пустил. Никакое ясновидение здесь не поможет.

– Но меня ведь ты хорошо знаешь.

– Да, но не так хорошо, как ты знаешь меня. Когда человека видят насквозь, ему непросто отвечать тем же. Прозрачен только один, а как две прозрачности могут глядеться взаимно насквозь?

– Ты знаешь, я по физике... пять, два, пять, два. Пять, когда ты за меня контрольные писал, а два, когда я к доске выходил. Но все-таки мне представляется, что две прозрачности могут... Вода и небо, например.

– Вода и небо... – насмешливо повторил Женя, похоже, с высоты своих знаний по физике. – Нет, тебя видеть насквозь я не могу.

– Страшно?

– Слишком волнующе. Хочется плакать или смеяться. Непонятно. Тяжело. Переполняет что-то. Нужна, наверное, изрядная доля цинизма в античном смысле, какого-то особого бесстрастия, которое я пока не обрел. Можно даже сказать, что ты мешаешь мне это бесстрастие обрести.

Разговор довел до подъезда Подоконникова, но и вернул обратно к подъезду Клёнова. Традиция. Клёнов провожал Подоконникова, после чего Подоконников ответно провожал Клёнова и стоял, словно надеялся, что Филя, может быть,

проводит его. Раз и случилось: Филя заново проводил Женю. Но Женя и тогда все равно проводил Филю ответно. Опять мешкал перед подъездом, не смея уйти и тем не отпуская Филю.

Сравнимо с тем, как шесть лет тому Филя переплыл на другой берег широкого водохранилища. Были с Даней вместе на пляже.

Водохранилище растворяло и пловца, как каплю синих чернил в стеклянной банке. Пловец, как младенец в жестяном корыте, заполнял всю ширь. Но одновременно делался невидим с берега. Даша изо всех сил щурила и так резкие, как твердые грифельные штрихи, глаза. Все лицо уже отштриховалось тревогой. И сама бросилась в воду. Филя вернулся от другого берега. Километр туда, одинаково обратно. Разминулись. Свидетели, инертно осваивающие песчаную дюну, не скрыли, что девушка переволновалась не на шутку, мимо шутки, и поплыла за ним. Филя заново сошел в воду. Опять детское купание в корыте. Материнские пальцы нежат затылок в воде, оцинкованные борта гудят, как колокол на ветру. Опять – лодка прошла по другой грани отблеска. Опять пучинная отара спрятала Одиссея от Пенелопы, перевозимой женихами в лодке обратно. Признались очевидцы на противоположном берегу, что да, приплыла. Вышла из волн, словно со дна взошла. Речное бледное сокровище. Но будто не решилась под самый вечер обратно на дно, сразу свыклась с социумом, сразу зажглась, как кувшинка, человеческим огнем. Попросилась жалобно и азартно в лодку. И ее перевезли, недоумевая ее красоте. Напоследок переплыл Филя водохранилище. Волны уже не замечали его – то ли охладели к нему под вечер, то ли приняли за своего и проходили насквозь ознобом. Синий и кристально-прозрачный, с набухшими от боли, как рыбы пузыри, мышцами Филя выбрел из воды к яркой, как песок, на котором сидела, Даше. Она накрыла его пестрым полотенцем, как взмыленного жеребца попоной. И принялась им пристально любоваться, как сизым жеребцом.

* * *

Филя вернулся. Нонны в квартире не нашел.

Куда ей деться, она вернулась в свой круглосуточный магазин. Салон Нины стоял на обочине Мичуринского проспекта. Надо выйти напрямки к нему. Была глубокая ночь, транспорт не ходил. Филипп направился пешком в сторону

Мичуринского проспекта.

Летчик и писатель Антуан де Сент-Экзюпери определял свободу как движение, стремление куда-либо. Продолжавшейся ночью Филиппа и Нонну связывала свобода. Нонна бежала от Фили, он бежал за ней; связывала их диалектика свободы Экзюпери. Филя рванул напрямки. Зачем? Легче пройти по проспекту, перпендикулярному Мичуринскому. Так нет, Филипп устремился через гаражные кооперативы, огороженные железобетонными заборами с натянутой поверху колючей проволокой. Своры спущенных на ночь сторожевых дворняг кидались к нему, но он пробирался через гаражи верхами. Прыгал с крыши на крышу, пролезал сквозь колючую проволоку. После гаражей Клёнов вышел к великолепному фонтану. Великолепие усиливалось тем, что бил фонтан безлюдной ночью. Впрочем, из-за угла за деревьями показались автоматчики в камуфляже. Они прошествовали стороной от фонтана. Клёнова не заметили, настолько, наверное, он замер. Или – не отличили. Он похож был. Такой же ломкий и плавкий. Сахарная пена перекипала в прозрачные грани, тонкие и гладкие, как перо. Те вонзались отвесно и стояли, тужась и звонко ломаясь под тяжестью новой хлесткой пены. Неусыпно охраняемый высотный объект с фонтаном был предпоследним препятствием. Последним оказался неожиданный в блочном районе заросший ивами овражный ручей. В ивах упруго и прозрачно, под стать струям засекреченного фонтана, пел соловей. Филя перепрыгнул ручей. По склону взшел к Мичуринскому проспекту. Цветочный магазин виднелся на другой стороне. Филя попал аккурат к нему.

В магазине среди цветов, испускающих удушливый аромат, сидела в забытии растрепанная рыжеволосая женщина основательно в годах. Очки на ее носу сползли, затуманились, губы почти сошлись с носом, хотя нос был правильной формы, небольшой, это губы поднялись к носу в дреме. Женщина отличалась от обыкновенных цветочниц, при всей разношерстности их разряда. Небрежностью в одежде и прическе, но больше – особой самоиронией, заметной и во сне, обычно не свойственной цветочницам. Жалко было будить забывшуюся в самоиронии цветочницу. Но Филипп сообразил, что перед ним наверняка сама хозяйка Нина. Он побывал в ее квартире, но хозяйку тогда не застал. Филя постоял перед ней, Нина очнулась. Подняла на него поверх очков зеленые невидящие глаза.

– Цветочки? – спросила.

– Ягодки, – ответил Филипп.

– Что вы имеете в виду?

– Я имею в виду Нонну.

– Какую Нонну?

– Вы не знаете, какую? Девушку, которая здесь цветами торгует.

– Сейчас не ее смена. Сюда за цветами заходят, а не в гости. Здесь не дом свиданий.

– Простите, вы же Нина?

– Нина Андреевна.

– Ну да. Я жених Нонны. Собственной персоной.

– Персоной нон-грата?

– Отчего же?

– Почему же Нонна от вас сбежала?

– Она не сбежала. Это она так. Вы что ж, ее разве не знаете?

– Хорошо, хорошо, – примирительно закивала Нина. – Тогда вопрос: как так вышло, что вы-то не удержались?

– От чего?

– От предложения Нонне.

– Надо было удержаться?

– Нонна рассказала мне, что приходила ваша прошлая невеста, пыталась вас предостеречь, оградить. А вы ни в какую.

– Нонна тоже так всё понимает?

– Зачем ей понимать, она так чувствует. Ее ярость и есть ее понимание.

– Поистине, не знаешь, где найдешь, где потеряешь! – воскликнул Филя. – Вы неожиданно ответили мне на вопрос, на который я допрашивался давеча ответа и не получил. Но меня не устраивает ваш ответ. Я не могу отказаться от Нонны.

– Значит, счастье необратимо? – задумалась Нина опасливо. – Теперь я понимаю, почему мы с Нонной от него бежим. Точнее, она бежит. От меня счастье само в испуге убегает. Она беглая, как крепостная крестьянка, а я сама как разиня-помещица, от которой крестьяне бегут. А вот вы – средний революционный класс, способный на необратимое счастье.

– Вы считаете актеров революционным классом?

– Я не думала об этом. Но, пожалуй, считаю! Это вы здорово спросили. Для революции, преступления и, наверное, счастья нужен хоть небольшой, но талант актера. А у нас с Нонной его нет.

– У Нонны – может быть. Но у вас – я не уверен.

– У меня артистичность есть, но актерского таланта нет. Совсем разные вещи. Артистичная натура изображает счастье, а настоящий актер его испытывает.

– Вы хотите сказать, что счастье – всегда театральное?

– Я не боюсь смерти. Так зачем мне счастье?

– Совсем не боитесь?

– Совсем. Правда, смерть мне частенько надоедает. Она назойлива, да еще трезвенница. Нет чтобы выпить со мной.

– Вы хотите напоить черта? Но это и есть самый что ни на есть театр.

– На деле он напавляет меня. Тут вам уже не театр, тут жизнь вне театра.

– Для меня жизнь вне театра – открытый космос, – признался Филипп.

– Правильно. Я нахожусь в открытом космосе, в открытом космосе торгую цветами. Я привыкла.

– Но у вас ведь была судьба. А у Нонны не было судьбы. Она бежит не только от счастья, но и от судьбы.

– От судьбы не убежишь.

– Но она убегает.

– Она убегает от вас.

– Так или иначе, я хотел бы узнать, где сейчас Нонна находится.

– У меня.

– Вы не могли бы указать адрес?

– Может быть, с утра...

– Нет, если можно, прошу вас, сейчас.

– Ну хорошо.

Нина назвала адрес, Филипп пошел по нему.

Нонна встретила заспанная, с недовольным изумлением.

– Чего ты прискакал? – спросила она.

– А что ты ушла? – спросил Филипп.

– Не собираюсь терпеть твоего пьянства.

– Разве это пьянство?

– Ты и сейчас опьяневший.

– Я совершенно трезвый.

– А если протрезвевший, то тем более – что ты притащился? Это что, выявление любви? Это очередные твои театральные эффекты. А я не актриса. Иди к своей Дашеньке, она подыграет.

– Даша тоже не актриса.

– А кто же она?

– Журналист, кажется, или бренд-менеджер, или контрагент. Ей хватило самолюбия, чтобы не стать плохой актрисой. Единственное, за что я ее уважаю, она выбрала какую-никакую, а жизнь.

– Конечно, – подтвердила Нонна, – бросила тебя. Заслуживает уважения. Хотя все равно актриса. Как будто по ней не заметно.

– Возможно-возможно, – сосредоточился неадекватно Филя. – Театр надо загнать обратно в театр, для его же блага.

– Вот и ступай на ночлег в театр, – отправила Нонна. – Ко мне-то зачем прискакал?.. Ладно, что поделаться, оставайся пока, Фильчик-мандаринчиковый, – милостиво рассмеялась она. У нее был детский смех.

Женю Подоконникова Филя приглашал с волнением, как врача. Гришу Насова он звал риторически, как сказочный ветер или вечерний месяц. Как листопад. Поэтически звал. Насов, тот Филю если звал, то тоже поэтически. Хотя и в уничижительном жанре бытовой сатиры: «Выползешь?» – небрежно осведомлялся он. Филя использовал туманные глаголы тревожной лирики: «Ну что, пересечемся?». Или же ставил перед морально-волевым выбором: «Ты сегодня способен на встречу?» Насов отвечал иногда: «Не-а», – с конвульсивным зевком. Но чаще: «Пожалуй». В этот раз Насов ожидался вместе с Геней Патовым, легендарным барабанщиком, а теперь хозяином ресторана. Легендарным Гена был относительно совместной музыкальной юности.

Тогда в празднике Гена научил более юных друзей доходить до «кровавых соплей». Насов в это крайнее состояние внес штрих, что – не просто «до кровавых соплей», но к тому же «до изумления». Вблизи от изумления, неподалеку от кровавых соплей Гена щедро одарил ненадолго Клёнова подругой. Причем своей подругой. «Я тебе его дарю», – наоборот, сообщил он ей. Юный Клёнов послушно понял себя подарком. Что не такая, как Клёнов, юная подруга тут же, на стадии кровавых соплей, сама оказалась не подарком, щедрости Патова совершенно не умалило.

Патов, как было сказано, единственный из компании, окончил музыкальное училище. Что закономерно: в отличие от малоопытных приятелей он успел отведать горечь потерянного шанса. Потому и женщин расторопно дарил, не дожидаясь, пока они его оставят в изумлении в сидячей ванне с кровавыми соплями навывпуск. Женщин он любил, но – как музыку: держался с ними заданного ритма и строгого регламента. Потом забывал, как прекраснейший сон.

Филю Клёнова, как часто певцов, чувство ритма, случалось, подводило. Почему он и мог оказаться вдруг подарком. Правда, он сам считал себя подарком. То ли дивом-дивным вроде Жар-птицы или единорога, то ли рабом, которого по таинственной логике фатума можно подарить какой-нибудь женщине. Так же, кстати, Леха-Фонарь подарил его Нонне. А Клёнов не заметил, как всегда.

Но случалось, и Гена Патов рисковал своим пребыванием в училище.

Повстречали его как-то в день экзамена Гриша и Филя возле «фазенды». За архитектурные очертания местный люд, склонный к экзотическим фантазиям и захватывающим почти книжным приключениям, прозвал «фазендой» сооружение, предназначенное для стеклотары со всего района, и сочащее в полумраке – в сравнении со своими размерами игрушечного – оконца копеечное тогда разливное пиво. Очередь вечно липла к оконцу то в томительном ожидании, то в сладостном предвкушении.

Гена вальяжно отделился от очереди, словно от группы брокеров, и тотчас предложил сокурсникам «нажраться до кровавых соплей». Причем у него на груди на болоньем стеганом длиннополом пальто, обхватывающем сутуловатую, но стройную фигуру, уже висела то ли слюна, то ли вышеназванная субстанция.

«У нас же сегодня экзамен», – вкрадчиво напомнили Филя и Гриша. «А у меня что, – оскорбленно изумился Гена, – лук соси?»

Сутулой рысцей он зачем-то азартно обежал вокруг ангара «фазенды». Друзья ожидали его с надеждой узнать цель пробежки. Гена словно бы спешил к ним с объяснением.

«Ну как? – спросил он. – Улижемся?» – «Экзамен у нас», – ощерился приветливо, развел пространные руки Гриша. «А у меня что, лук соси?» – недоумевал Гена. Субстанция вплелась ему и в густую курчавую черную бороду...

Характерно, что экзамен отменили. Гриша с Филей остались несолоно нахлебавши, хоть и в изумлении. Такой обладал интуицией Гена, что ей даже кровавые сопли не делались помехой. Интуицией, обусловленной тем же безотказным чувством ритма.

Пришел он сегодня чинно. В песочном пиджаке и расстегнутой на две пуговицы шелковой рубашке. Но как увидел Нонну, ошалел.

Похоже, включилось чувство ритма. Он взмолил о руке. В том смысле, что ему необходимо Нонне руку поцеловать. Она с хохотом ему руку сунула. Он впился в нее, продолжая смотреть Нонне в глаза изголодавшимся, как болотная топь, взглядом.

Сели, о чем-то стали ворковать. О чем, Филя не очень вникал. Кажется, Гена высказывал претендующие на особого рода приватность комплименты. Филя не вникал. Он избирательно слышал отчетливый хохот Нонны. Не то чтобы ему хотелось плакать. Он сверх желания плакал про себя, внутри неровно чертили слезы, за скрытым плачем он почти не внимал разговору.

К тому же Гриша Настов – отмалчивался. И Филя буквально любовался его незыблемым, одновременно прозрачным, каким-то архитектурным, молчанием.

По сути дела, все обстояло безобидно. Разве что у Гены подвисали губы на каждом слове, обращенном к Нонне, а Нонна громко, отверсто хохотала. Филя за них не боялся. Больше его волновал Гриша. А точнее, его, Гришино, преобразование.

Чем безобразнее становились смех Нонны и губы Гены, тем делался прекраснее Гриша. Филя решил его подловить в этот его час преобразования. Задать полюбившийся уже самому Филе вопрос о двух невестах. Гриша был сфинкс. Но настал черед самому ему отвечать на вопросы, разгадывать загадки. Драгоценный момент упускать было нельзя. Филя позвал Гришу курить на лестничную клетку.

Семь лет назад Гена схоже порывался поцеловать руку перепуганной неожиданным обстоятельством Даше. Тогда Филя запер Дашу от вислых и в ту эпоху губ Гены в комнату, где Даша от испуга заснула, как ребенок.

Но Нонну рьяными притязаниями явно было не прошибить. Оттого Филя за ее тет-а-тет с Геной не чрезмерно беспокоился. Когда людям не надо искушать друг друга, что их может связывать? Им остается сообща искушать других. Какого удовольствия Гену с Нонной не мешало на минуту лишиться. В качестве эксперимента.

Тем более что Сфинкс – преобразился.

– Тут Даша приходила, – приступил Филя на лестничной клетке.

– Ну и? – спросил Гриша и сразу предположил: – Твоя, наверное, обрадовалась?

- Моя – Нонна? Сейчас она норовит стать Гениной.
- А! Какая разница, – брезгливо отмахнулся Гриша.
- Верно, никакой. А Даша?
- Что Даша?
- Зачем она ко мне пришла?
- А я знаю?
- Но ты же Сфинкс.
- Сфинкс загадывает загадки, а не разгадывает.
- А ты разгадай для разнообразия.
- Так себе разнообразие.
- Какое есть. Хоть какое. Для тебя ведь главное разнообразие. А уж какое, оно тебе ведь неважно.
- Ну, как сказать...
- Ты же сам утверждал.
- М-да. Ты вот мне, сфинксу, все-таки разгадай загадку. Глядишь, разгадка и будет тебе ответом.
- Давай. Какую загадку?
- Почему – в те времена, когда я сидел у вас с Дашей в гостях, вы мечтали меня выпроводить, а нынче, с этой мулаткой, ты сам со мной охотливо выходишь?

– Засидишься у нас до завтрашнего вечера, мы и с мулаткой попросим тебя свалить. Ты почему-то тогда, в те времена, очень упорно сидел. Что это означало?

– Это означало, что не надо спешить. Быстрота нужна только при ловле блох и при поносе. А вы торопились меня выставить.

– Торопились... Ты на второй день сидел до четырех часов.

– Я терпеливо ждал, когда вы мне дадите самому удалиться. А вы не давали. Если бы вы меня не выпроваживали, я бы сам еще с вечера ушел.

– Неужели это настолько принципиально?

– Принципиально было для тебя. Я тебе добра желал.

– Сейчас не желаешь?

– Сейчас мне все равно. Тебе желать добра бесполезно.

– О какой пользе ты говоришь?

– Красивая она, конечно, была, Даша твоя.

– И что? Нонна разве не красивая?

– Нонна – оно конечно... Но Даша мне больше нравилась, – Гриша щелкнул пальцами. – Я и сидел, чтобы сберечь ее для тебя. Я сторожил вас. Сторожил ее, сторожил тебя, а вы прогнали своего сторожа. К сторожу нельзя ревновать.

– Я не ревновал.

– Хорошо. Сторожем нельзя тяготиться. Тем более добровольным. Понимать надо. А ты никогда не понимал таких вещей. Вы меня прогнали. И остались беззащитные. И не справились. Ничего не получилось.

– А к нам с Нонной ты пойдешь добровольным сторожем?

– Уж смотря как вы будете себя вести. Второй раз эдакую благосклонность надо заслужить. Только первый раз она дается даром. А второй раз...

– Всё это очень трогательно. Но объясни мне: как человек, который любовался, как Даша танцует...

– Да, может быть, я любовался не ею, а вами обоими, – печально предположил Гриша.

– Как человек, который любовался нами завистливо.

– Да, я тебе завидовал.

– Как человек, который мне завидовал...

– Почему ты думаешь, что я сейчас тебе не завидую? И не царапаю от зависти притолоку ногтями?

– Хорошо. Как завистник, восторженный созерцатель, сфинкс и добровольный сторож чужого счастья скажи: зачем Даша ко мне заявила теперь?

– Для разнообразия.

– Так себе разнообразие.

– Согласен. Наверное, ее привлекает разнообразие как таковое. К тебе одному – что приходить? Все то же самое. Я и сам к тебе перестал ходить, потому что надоело. А появилась у тебя мулатка, я пришел, Гена даже подвалил. Мало ему в его ресторане разнообразия. Даша потому же пришла... Как она тогда танцевала передо мной... А танцевала она передо мной... – покосился Гриша свысока.

– Она танцевала просто под музыку. Она любила тогда просто танцевать одна. Когда же она наткнулась на твой мурлыкающий взгляд, она сразу перестала танцевать. Мы все сели и все вместе стали ждать, когда ты уйдешь. Ты, оказывается, тоже ждал.

– Всё так. Но танцевала она все-таки – передо мной. И надо быть весьма гнусным человеком, чтобы до сих пор верить в оскорбленную чистоту.

– Разве ее нет? Ты сам в себе хранишь оскорбленную чистоту.

– Да не оскорбленную, а просто чистоту. Чистоту нельзя оскорбить. Оскорбить можно человека. Но не его чистоту. А тот, кто думает, что можно оскорбить чистоту, и еще эту оскорбленную чистоту высматривает в других, а особенно в красивых дамах, тот дурак и мерзкий человечек. Забей, Даша больше к вам не придет. Ей хватило вашего разнообразия.

– Хорошо. Но зачем тебе и Даше разнообразие?

– Тебе не понять. Тебе не дано. Чтобы оценить разнообразие, надо вытерпеть однообразие, а ты никогда не умел.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/ru/emelyan-markov/maska-kupit>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)